

BARBARA STATBEA.



Scriptorium



**Варвара
СТАТЬЕВА**

НОЧНЫЕ ОГНИ

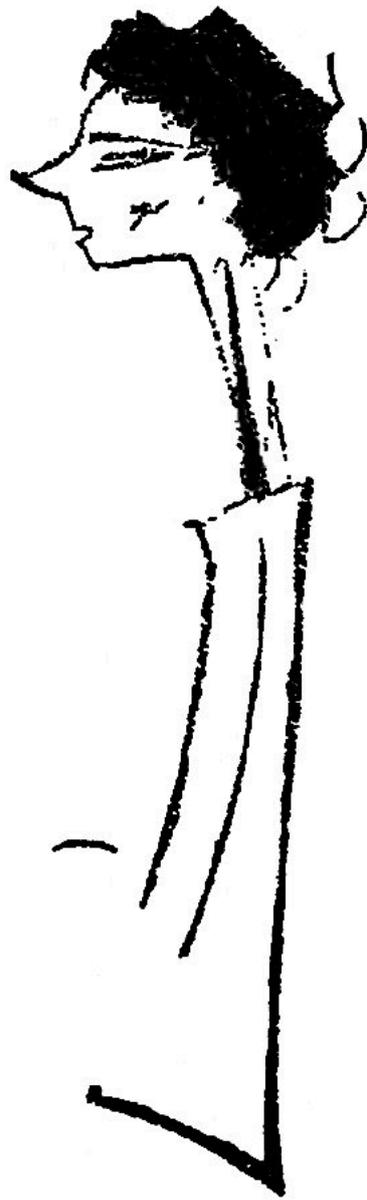
Стихотворения
Проза

Salamandra P.V.V.

Статьева (Первошикова) В. М.

Ночные огни: Стихотворения. Проза. Сост., подг. текстов, биогр. очерк и комм. С. Шаргородского. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2020. — 120 с., илл. — (Scriptorium).

В книге почти полностью представлено небольшое литературное наследие В. М. Статеевой (Первошиковой) — участницы модернистских изданий Сибири, публиковавшейся в 1919-1920 гг. в ряде авангардных журналов Дальнего Востока. Единственный поэтический сборник Статеевой увидел свет в Шанхае в 1920 г. Судьба ее по сей день остается неизвестной.



Emyline

НОЧНЫЕ ОГНИ

**СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ АЛЬМАНАХА
«ИРКУТСКИЕ ВЕЧЕРА»**

1916

ИРКУТСКІЕ ВЕЧЕРА.

СТИХИ.

Константинъ Журавскій.
Надежда Камова.
Левъ Повицкій.
Владиміръ Пруссакъ.
Варвара Статьева.

АЛЬМАНАХЪ ПЕРВЫЙ.
Издание группы поэтовъ въ Иркутскѣ.
Іюнь 1916.

НОЧНЫЕ ОГНИ

Ходит ночь по городу движеньями танго,
С холодными губами опытной кокотки.

В черных косах у блудницы нити фонарей;
Мигающие луны... пламенные очи...

Синие, зеленые, жестокие лучи!
Губительны, как стрелы с едкою отравой...

Я хожу по улицам, я ищу его,
Вглядываюсь в лица и слежу походки.

Я не знаю, где он между злых огней.
С кем следит за танцем этой пьяной ночи.

С ним зажечь бы пламя теплое свечи;
С ним уйти от ночи темной и лукавой.

В ХРАМЕ

I

Снова та же церковь. Сквозь низенькие дверцы
Заглядывает пламя в голубую ночь.
Господи, как странно! что же это в сердце?
Господи, прими вернувшуюся дочь!

Свечи истекают обильными слезами,
Вымаливая людям «милость о грехах».
Тот же все Распятый с кроткими глазами,
Та же укоризна в ликах на стенах.

Что я здесь оставила? Слезы о любимом,
Молитву «осени мя благостью своей»,
Просьбы: не покинь в труде неутомимом,
Выведи с лукавых, с глохнущих путей.

Много лет угасло. В извилинах сомнений
Невидимой рукою задушена любовь:
Больно! Нет, не встану кротко на колени,
Прежними слезами не заплачу вновь.

II

Я снова здесь. Ряды лампад
На тех же ленточках с цветами;
Завеса прежняя у царских врат,
На плащанице шелк с квадратными крестами.

Как прежде, святость в алтаре
И коврик с каплями из воска;
И в трепете свечей на ораре
У дьякона горит парчовая полоска.

Опять седая голова
Склоняется за взмахами кадила.
Знакомые Евангелья слова...
И та же сила в них, невянущая сила!

**СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ**

1916-1920

Я в ресторане. Тает ночь,
К окну приникла жадно мгла.
Как страх пред жизнью превозмочь?..
Я пью вино, а из угла,
Откинув темную вуаль,
В глаза глядит моя печаль.

Желтеет осень, за собой
Влача пылающий покров.
Осинник тает золотой...
Я воздух пью, а из кустов,
Откинув темную вуаль,
В глаза глядит моя печаль.

Кругом семья. Горят огни.
В руке дрожащая игла,
Наивность детской болтовни...
Я счастье пью, а из угла,
Откинув темную вуаль,
Глядит, глядит моя печаль!

10 МАРТА 1917 ГОДА

И вот на площади соборной
Незабываемый парад.
Сюда народ, дотоль покорный
Принес в боях добытый клад.
Тот клад — кумачные знамена,
Они под солнечной весной
Столетней кровью напоены
Дышали в бездне голубой.
И расплываясь, притекали
Солдат колючие полки
Сверкая, в солнечные дали
Вливались мирные штыки.
Сынам раскованным свободы,
Вчерашним пленникам тюрьмы
Ура, легко бросали взводы,
Сражая старые умы.
Хотелось, чтоб не забывался
В России долго красный цвет,
И в ярком небе развевался
Для новых радостных побед.
Была кругом весна и воля
И шелка красные куски
И даже ветер, ветер с поля
Не веял ядами тоски.

10 МАРТА 1918 ГОДА

Прошлогодние флаги повыцвели
И слов потемнел узор золотой
Громоздятся вокруг вместо лиц — пули
На площади грязи покров густой.

А погода сегодня весенняя
Под ветром деревья нежно дрожат.
Отчего же следит за мною тень моя,
Зовет оглянуться в тоску назад?
И покорно, безрадостно вспомнила
Все песни, что спел нам длительный год...
Наклоняется тень моя темная
И чей-то кривится от боли рот.

ВЕСНА

Прошлой весной все стены у нас
Были известковы-белы.
Ночами в одну из них уличный газ
Пускал зеленые стрелы.

В ярких квадратах рисунка-окна,
Зыбкою тенью вставая,
Качаньем немым призывала сосна
В белую призрачность рая.

Тени следила я еле дыша,
Жуткие райские тени...
Дрожа, уходила за ними душа
В сказку нездешних растений.

Утро смывало окно со стены.
В реденьком пыльном уборе
Обвисшие ветки скрипучей весны
Никли на черном заборе.

Да, я все поняла теперь
И крикну то, что другие таят —
Как со зверем проснувшийся зверь
Совершаем весенний обряд.

Ничего мне не надо. Верь:
Я солнце утром безмерно люблю.
Я не плачу от мелких потерь,
А страданья мечтой усыплю.

СТИХИ

Том I

1920

БАВВАРА СТАТБЕРА.





БАРБАРА

СТАТЬБА.

СТУХИ.

РОМ I.

БЕЛОРУССКАЯ

Я далеко от ласкового моря;
Я в нем, как водоросль, качалась меж камней.
Вдали дремал под зноем пыльный город;
Он видел в снах подводных королей.

Вверху сливались птиц и туч полеты....
Любила я часов передзакатных свет,
Когда на белом нежность позолоты,
А воздух лаской солнечной согрет.

И вот Сибирь! Здесь охмелела осень;
Кто мог роскошно так перемешать тона?
Но кроет грусть распластанные космы,
И в блеске дня лишь трепетанье сна.

Здесь воздух сух, а реки нежно-сини
В оранжевой кайме береговых зигзаг.
Большие листья северной осины
Хоронят в золото бесцельный шаг.

Страна тайги, монгольскими богами
Хранимая века, меня к себе зовет;
И тайна жутко-алчными губами
Куда-то вглубь манить не устает.

Я здесь в холодной лесной Сибири
Слушаю песни черных ночей
Под звоны вьюжные северной лиры
Вдали от родимых полей.

Но в снежных далях и в черной ночи
Вижу печаль моих деревень
Где косу смерть за околицей точит,
Бросая до города тень.

В пустых амбарах худые мыши,
Воин безногий в душной избе,
Над ними там, у соломенной крыши
Глумятся бураны в трубе.

И дед угрюмый, совсем как в сказке,
Выйдет проверить грамотки-клад
В закутке ветхой, где тощий савраска
Косит свой испуганный взгляд.

Но вдруг все тихо: в холодных тучах
Изредка месяц взглянет на миг,
Я вижу к смерти чужой, колючий,
Невиданный кто-то приник...

Так слушаю ночью глухие бредни
Ветра и ставен трепетных стон,
А ветер снова примчал мне намедни
Оттуда напев похорон.

Разве я забуду эти пашни,
Звон невидимой далекой колокольни,
Мельницы крылатые и страшный
По ночам лесок окольный?

Помнится зеркальная кулишка,*
Берег, устланный промытыми холстами;
Сонное, горячее затишье,
Под ракитой тень густая.

* *Маленький болотный прудок.*

Я помню Волгу, Волгу нашу
И крепкий запах пристаней,
И Нижний с белизною башен
В горячем блеске летних дней.
Плоты, беляны, вечерами
Прохлада, красные буйки...
И в легких тучках, будто в раме,
Зарниц крылатых огоньки.
На берегу веселый говор
И вздохи грузчиков: Эх, раз!
И скрип на сходнях, вечно новый,
Как старины простой рассказ.
Рассказ о Разине Степане,
О тайне хмурых Жигулей,
Где по ночам про атамана
Поет в ракитах соловей.
А ширь, а солнце, а запах меда
С полдневных дремлющих лугов!
И на песчаных мелях ветел
Полусеребряный покров.

Все знавали на Руси гадалок.
Ворожеев, темных колдунов,
Старух, похожих на степенных галок,
С губами без напрасных, слов.

Лишь выходит, выпивая росы,
Из-за леса солнце, он идет;
Его боятся и не тронут осы
И пчелы отдадут свой мед.

Он срывает и цветы и травы:
Все имеют скрытый талисман;
От них и молодец закахнет бравый,
У девицы согнется стан.

Но зато пред неизвестной силой
Утихает огненная боль,
Жених вернется к позабытой милой....
Премудрости в былинках соль.

Все знавали на Руси гадалок,
Ворожеев, темных колдунов,
Старух похожих на степенных галок,
С губами без напрасных слов.

РУСЬ

Эта ночь на Ивана-Купало
На поляны уронит жемчужный налет,
Тихо раскинет широкое синь-покрывало,
В полночь за счастьем бессонную Русь позовет.

В эту ночь на Ивана-Купало
Загорятся лампы лесных светляков,
Лес приподнимет неслышно ночное забрало,
Папороть вспыхнет пучками горячих цветов.

Выйдет Русь на Ивана-Купало
В темноте отыскать замороженный цвет...
Только бы нечисть лесная дозором не встала,
Не погасила вдали златокрылый рассвет.

Когда-нибудь вернусь на родину
К ржаным полям и василькам,
И в церковь с каменными сводами,
Где на одной иконе шрам.
«То след француза» дьякон старенький
Мне на кладбище объяснил.
Тогда был пост; дыша испариной
Земля пьянила у могил.
И шел на исповедь в смирении
Народ с растаявших дорог;
А там вдали, в полях сиреневых
Любовь и страсти сеял Бог.

Рассвет сгоняет сон с зеленого овса
Но зерна крупные склоняются в дремоте...
В слезинках розовой гречихи полоса,
И море шумной ржи в сквозящей позолоте.

С улыбкой слушаю ворчливый скрип колес,
Качаясь в колеях глубоких чернозема;
Рвет встречные цветы ныряющая ось
И хочется скорей знакомого приема.

Не видя вижу двор. Над тусклой лебедой
Склонившийся плетень, лиловый хвост в груди.
Вот сени, горница, иконы чередой
И раки красные на деревянном блюде.

Грызешь бывало свежий стебель кукурузы
На черноземной и обильной грядке,
А дед, надвинув ломаный картузик,
Загадывал старинные загадки.

Веселый дед любил порассказать о старом,
О палачах, о барах беззаботных,
О черте, что покойником Назаром
Водил его до света по болотам.

Его рассказ, как яркий зреющий подсолнух.
Мой дед пред старостью не спрятал смеха...
И смех его, как ржи июньской волны,
Как ласточек звучанье под застрехой.

Толпа и поле, толпа и небо,
И душный запах созревшей ржи,
И сытный запах краюшки хлеба,
Что ест девчонка, присев у межи.

А мимо — серы, с горячим потом,
С горбами сумок, они, в грехах,
Несут Царицу, и над киотом
Взлетают ленты на пыльных волнах.

Плывет икона над полем хлебным,
Не слыша вздохов засохших уст.
Смолкает говор... стихи молебна
Крестясь, старуха твердит наизусть.

Мелькают руки и дышат груди,
И вспухли жилы склоненных шей;
Под жарким солнцем, с мольбой о чуде,
Несут подставки семи фонарей.

Я снова здесь; ряды лампад
На тех же ленточках с цветами,
Завеса прежняя у царских врат,
На плащанице шелк с квадратными крестами.

Опять седая голова
Склоняется за взмахами кадила,
Знакомые Евангелия слова
И та же сила в них, невянущая сила.

У ЛЕСНЫХ ОЗЕР

(Вятск. губ.)

Зеленые озера в зеленом царстве хвой;
Навесы гордых сосен, полдневный сонный зной...
Глубокие воронки с кольцом воды на дне;
Там ели наклонились в истомном полусне,

Там мох зеленый ярок и кем-то будто взрыт:
На нем следы чернеют невиданных копыт.
Мохнатый леший знает: когда погаснет день,
Начнет по соснам ползать изменчивая тень.

Он сядет в можжевельник, дыханье затаив,
Скривится рот багровый, бессильно похотлив.
И в сумрачном слияньи, под желтою луной
Зелеными струями заплещет водяной.

Взметнет покровы тины и муть стоячих вод,
Тоскующих русалок он кликнет в хоровод.
Дразнящими руками замечут изумруд,
И воды всех воронок в одну переведут.

Утихнет плеск шумливый, лишь утро зацветет,
И леший к водоему с опаской подойдет.
Сквозь солнечную воду увидит елей ряд,
Цветы и мох зеленый и чей-то гордый взгляд.

ЖЕНЩИНА

Она идет в косынке черной
Полями, лесом... на горе,
Кресты купая в облаках узорных,
Блаженства ждут в монастыре.

Ее душа, устав от буден,
От скуки спутавшихся дел,
Любила слушать между звуков скудных,
Как в небе колокол гудел.

И там, где ясен купол звездный,
Тихонько встанет на порог
И будет в звонах лучезарных грезить,
Рисуя ангельский чертог.

Глаза окрасит отблеск новый,
Он сумрак буден озарит.
И жизнь затеплит под родимой кровлей
Чудесной радостью молитв.

Осенние березы — тихие костры.
Смотрю в окно и вспоминаю: «три сестры».

Закат покрыл румянцем опавшую листву.
Без слов я грустно повторяю: да, в Москву.

Подавленные скукой знакомые дома...
Куда уйти и чем укрыться от их клейма?

Назначенной дорогой проходит каждый час...
Кругом улыбки и дозоры тех же глаз.

Ночами от притонов ютится наглый свет;
На все вопросы и мученья там ответ.

Осенние березы, что тихие костры.
Смотрю в окно и вспоминаю: «три сестры».

УЧИТЕЛЬНИЦА

Сегодня праздник и не пойду я в школу,
К смятенью сотен детских голосов.
Вот ранний луч скользнул за скромный полог
С рисунком серых глазастых сов.

Проходит утро. Многоименной гряде
Тетрадей страшен красный карандаш.
А рядом пес. Ну, что ж, мы завтрак скудный
Разделим вместе мой грустный паж?

Обоим скучно; провинциальный город,
Из бревен стены, сплетни и тоска.
Смешно мой пес, но я хочу быть гордой,
Хотя дорога моя узка.

Погаснет праздник невыносимо долгий.
На завтра снова сотни голосов.
А ночь, впивая взгляды в темный полог,
Одной я буду из серых сов.

ВОСПОМИНАНИЕ О МОСКВЕ

И храм Спасителя, как в море золотыми парусами
Раскинут в небе куполами.
И Кремль, старинный Кремль глядится в косое зеркало Москвы.
Все то же небо налегает; и дождик мелкий бесконечен...
А осень зажигает свечи
В намокшей зелени листвы.

1916 г. Август.

Вчера взяла большой словарь...
Там снимки видела Москвы:
Собор на площади, где грозный царь
Глядит из под креста цветной главы.

И Кремль я вспомнила и нас,
И нашу жизнь. Как странно в горле...
Ну, вот и капли глупые из глаз
Все буквы на бумаге стерли...

1917 г. Январь.

На дворе в весенней слякоти
Расплескался ранний луч.
Под рукой в калитке звякает
Равнодушный старый ключ.
Что-то воздух нынче ласковый?..
Март гостит девятый день!
Треплет ветер платье красное....
Мне идти к обедне лень.
К послушанью не привычна я,
Не люблю при солнце свеч.
На девятое в обычае
Вкусных жаворонков печь.
Говорят, они девятого
Начинают прилетать.
«А в одном я счастье спрятала»
Мне, смеясь, шепнула мать.
Подбираю платье бережно:
Колея водой полна...
В жаворонке будет денежка!
Не забудь меня весна.

ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ

На кладбище с кричащим вороньем
Кто сможет видеть памятник без боли...
И строки страшные на нем:
«Погибшим на Ходынском поле».

Я помню весну и ветки,
Я помню растаявший май,
Звон, а на нашей соседке
Светленький пахнувший фэй.

Я помню в поддевках серых
Фигуры бегущих людей;
Лица с наивною верой
В мудрости царских затей.

И там под открытым небом
Уставили детски глаза
В будки с орехами, с хлебом...
Ждали ль, что будет гроза?

Но скоро белее бумаги
Их сделал нахлынувший страх,
Бились трехцветные флаги,
Никли на тихих домах.

И дрогнули в крике груди
И смерть подошла хохоча.
Плакали, падали в груды,
Сросшись плечом у плеча.

Но руки совсем синяя
Сжимали с гостинцем платок;
Пряники к платью на шее
Крови приклеил моток.

И ночь наготу прикрыла,
Но стоны вставали страшней,
Двигались тени и выли,
Долго, до новых лучей.

На кладбище с кричащим вороньем,
Кто сможет видеть памятник без боли
И строки страшные на нем:
«Погибшим на Ходынском поле»?

В МОСКВЕ

На красной площади
Толпа топорщится.
И храм цветноглавый
Для вербной забавы
К реке отступил, не мешает.
А люди в лужах весеннее солнце сгущают,
Ходят по небу,
Справляя московскую вербу.
Над шарами голов
Распузырились, плавают яркие гроздья шаров.
Говор гудит, стон стоит под стеной великой,
Воздух жадный глотает крики:
«Вот бабочки
На булавочке,
Видите какие, не простые,
Настоящие, животрепящие.
Народ честной, слушай.
Обезьянки из плюша!
Смотрите, житель морской
В жидкости простой
В стеклянном колпаке,
Кипит в руке».
Нарядился весь московский люд
С пестрыми приманками домой идут.

На Москву, что любого моря шире,
Я смотрю с колокольни, великой в мире.
Старым ударом у Спаса
Выведет красная пасха
Тихие толпы на площади.
В москворецких плесках
Пасхальные плоски полощутся
Буднюю дрему сдернув.
Черно-разорванных четок зерна
В чрево Кремлевское катятся, катятся кроткоголосые
Со всех переулков и улиц раскосых.
Слушайте, выстрел... миг... два!
Мигнула свечами Москва.
И многоцерковье, тряхнув куполами,
Праздник встречает,
Здравицу жизни слагает,
Красная пасха, пасха, пасха,
Сила нечистого нам не опасна!
Вставайте же все из гробов:
В гуле малиновом,
Спорят переливные
Сорок сороков.

Февраль 1920.

А ночью город наш в белеющем тумане
Что раненый Пьеро.
Бледнея, фонари-помпоны на кафтане
Вонзают нити в мглу морозную остро.

На темном небе сад, весь жемчугом унизан
И вычурна кайма
Над зябнущим, седым от инея карнизом
Сосулек хрупкая мерцает бахрома.

Кто же там шумит шелками белых складок, белых лент?
Кто-то снежный, к песне страшной
Подбирает тихий аккомпанемент.
И над гулкими струнами телефонных арф
Развевается по ветру чей-то длинный шарф.
Он холодными концами кроет снежные поля...
С тихим свистом чью-то шею охватила крепко белая петля.
Протянулись чьи-то руки, оборвав струну,
Кто-то бедный покачнулся молча в глубину.

БАЙКАЛ

Блестят гольцы; ни сел, ни деревень,
Лишь изредка мелькнет рыбацья снасть,
Светя холстом; Байкалу лень
Открыть сверкающую пасть.

С горы ползет змеей свиваясь тень,
Цепляется и рвется на скале.
Гольцы сжигает жаркий день
И дали тают в знойной мгле.

Выплывало солнце из-за гор щетинистых,
Обаграло нежные лепестки шиповника.
Сжигало росы бледные между скал морщинистых,
И жарко дышало пламенем у стволов кедровника.

Истекали сосны смоляными соками;
Вышивались пальцами невидимок-бисерниц.
Дремали горы снежные, шелестя потоками...
И тайга кадила ладаном шелковистых лиственниц.

У иконы потускневшей тоненькие свечи;
Осторожно их затеплят в праздник храмовой...
А в бисквитной банке ирис полевой,
Розы голубые у зеркальной рамы,
На стенах портреты в пихтовых колечках.
За окном открытым горы, тающие храмы;
И Байкал тихонько плещет зеленью кудрей.
На песке узоры брошенных сетей,
Желтые бурята на косом крылечке
Говорят о мудрой жизни хамбо-ламы.

Поскрипывал уныло новый ворот...
И в тон ему лениво пел бурят
О рыбе, что сдадут куда-то в жадный город,
О том, что говорят
У лодки рыбаки, сгибая спины
Над сетью с грудой скользких омулей.
Качались поплавки вплетаясь в тину...

Ползет мороз по улицам пустынным,
В домах как веки глаз опущенные ставни.
Весь город погрузился в сон старинный
Как будто не шумел и не жил день недавний.

Ползет мороз и дышит острой мглюю;
Сквозь мглу дрожат костров горящие кудели...
И стынет мысль. Под быстрою ногою
Вдруг хрустнет скорлупа на смерзшейся панели.

Мечтаю о море, о фруктах...
Об огромных в порту крейсерах...
А здесь под окном розовеет багульник
И яблонька белая в мелких цветах.

Я сегодня рано вышла на крыльцо,
Ветерок весенний опажнул лицо.
В облаках гуляла тихая заря
Рассыпала маки ярче янтаря.
По холмам багульник радостно алел...
Отчего ж мне больно от весенних стрел?

ПОД ЗВОН ПАСХАЛЬНЫХ КОЛОКОЛОВ

Динь динь дон, динь динь дон!
Рвется в небо медный звон.
Гул и шум на улице...
Я застыла в медных звуках на крыльце.

Вот мелькают в блеске солнца
Шляпы, перья, котелки;
Взгляд бурята, бровь японца,
Чу, сибирские стрелки.

Звук шагов их точно взмахи
Под призыв колоколов;
Развеваются папахи
Над мельканием голов.

Динь динь дон, динь динь дон!
Рвется в небо медный звон.
Гул и шум на улице...
Я застыла в медных звуках на крыльце.

Вчера в камине мы сожгли рождественскую елку;
Кричало дерево сухим, коротким треском.
Сгорев, не падали упрямые иголки
Кололи сердце мне, томили красным блеском.

А теплый воздух плыл, стремясь к заиндевшим окнам
Там стыли белые оснеженные ветки...
И кем-то на стекле невидные волокна
Сплетались до утра в узор простой и редкий.

На темно-синий фон легли белеющие перья.
«То воздух, странствуя, несет растений душу»
Гласит забытое старинное поверье,
Красивых слов его рассудком не нарушу.

И вот на площади соборной
Незабываемый парад.
Сюда народ, дотоль покорный
Принес в боях добытый клад.

Тот клад — кумачные знамена,
Они под солнечной весной,
Столетней кровью напоены
Дышали в бездне голубой,

И расплываясь, притекали
Солдат колючие полки;
Сверкая, в солнечной дали
Впивались мирные штыки.

Сынам раскованным свободы,
Вчерашним пленникам тюрьмы
Ура! легко бросали взводы,
Сражая старые умы.

Хотелось, чтоб не забывался
В России долго красный цвет
И в ярком небе развевался
Для новых радостных побед.

Была кругом весна и воля
И шелка красные куски
И даже ветер, ветер с поля
Не веял ядами тоски.

Март, 1917 г.

С весенним ветром ставни спорят
Печальным, ржавым голоском.

В моей душе не улеглась тревога,
Но выше встала под буйный рев
Хмельных растрепанных ветров.
Смотрю в окно; там без конца дорога;
Дорога вьется, в поля зовет,
Чернеет тающий помет...
И вот на зовы пришли калики,
Дорогу скрыли живой каймой,
Дыша волнующей весной,
И в вой ветров бросают клики...
И отступая сдается даль,
Влача обманную вуаль.

С весенним ветром ставни спорят
Печальным, ржавым голоском.

Когда ночами от бессонницы
Чернее мрак, острее слух,
К душе невидный кто-то склонится,
Лишь пропоет петух.

И крик его — предупреждение—
Встряхнет спокойствие времен.
Опять ужели отречение
Напоминает он?...

А может быть в молчаньи полночи
Предвозвещает он рассвет;
И будет праздник власти солнечной
И крик его привет?

Вот снова возгласы крикливые
Пронзают резко мрак ночной...
Тревога, жуткая тоскливая
Овладевает мной.

Свистит о дальнем паровоз
И без конца бегут поля...
Вот сел и городов сверкающий хаос,
Там пепел на сгорающих углях.

Вопросы многих чьих-то глаз
Не получивших свой ответ...
Я знаю, предо мной восстали в этот час
Страдания, сошедшие на нет.

Прошлогодние флаги повыцвели
И слов потемнел узор золотой
Громоздятся вокруг вместо лиц — пули
На площади грязи покров густой.

А погода сегодня весенняя
Под ветром деревья нежно дрожат...
Отчего же за мной следит тень моя
Зовет оглянуться в тоске назад?

И покорно, безрадостно вспомнила
Все песни, что спел нам длительный год...
Наклоняется тень моя темная
И чей-то кривится от боли рот.

Март 1917 г.

РАЗГРОМ

По дорогам грязным, мусорным,
Я иду, ищу деревню я.
Мне навстречу люди грустные
И меж них старуха древняя.
Вот старуха верно знает:
«Расскажи-ка дорогая
Как найти мне дом».
Обезумела седая:
Головой она качает
И грозит ножом.
«Почему грозишь ты старая,
Нож зачем под кофту спрятала?»
«А тебе должно быть пара я...
Хи, хи, хи!» «Молчи проклятая!»
«Мы с тобой теперь без дома
Видишь мусор да солома
Вся в крови земля...
Тише, тише, слушай, стонет
Не дрожи, она не тронет:
Раны-то болят.
Без ножа теперь немислимо
Все в личинах, будто святками».
На морщинки слезы брызнули
Нож и крестик тихо звякнули.
Точно тень ушла старуха...
Онемел я, в горле сухо
И не смог спросить...
Только слышал, видел — пыльный
Ветер мельничные крылья
Закрутил в выси.

В ТЕАТРЕ

Качаются легкие перья,
Бриллианты мигают с напудренных шей
Бриллианты и перья.

В дремоте склоняются мысли,
Забываются ужасы. Люди родней.
И склоняются мысли.

Проснуться б от жизни подальше,
Бриллианты же сны пережить на яву
От страданий подальше.

Актеры тревожат со сцены...
Но тревожнее крики снаружи плывут
С окровавленной сцены.

Где стонут леса по равнинам,
Где актерствует смерть с бесконечностью слуг
По родимым равнинам.

Качайтесь миганья и перья
Усыпите гипнозом болезненный слух
Бриллианты и перья.

ПАМЯТИ НОВОСЕЛОВА

(убитого осенью в Запад. Сиб.)

Со святыми душу раба твоего упокой.

Осенний воздух дышит тленьем.
По всем дорогам родины больной
Несется в высь рыдающее пенье:
Со святыми душу раба твоего упокой.

Алтарь осенним солнцем залит;
Христос в сияньи с поднятой рукой...
И с ним они, как равные предстали...
Со святыми душу раба твоего упокой.

А вот и он, последний, славный
С горячей кровью, тихий и простой
Из жизни взятый дерзостью бесправной...
Со святыми душу раба твоего упокой.

ВЕНЕДИКТУ МАРТУ

Опрокинув в зрачки
Праздник свечи—
Пасхальное крестное пламя,
Встанем на камень
У замкнутых врат.
И восстанет глас
Для поверивших глаз:
«Воскреснем, смертью смерть поправ!»
Смертию смерть!
И вонмет возгласу твердь.
Очами веры
Отверзятся двери
Для вздохов красной весны,
Для зорных глаз, окунувших взоры
В высь голубой глубины;
Для чуда сочных подземных зерен,
Для зеленых глаголов востленных трав,
Пришедших снова, смертью смерть поправ.

*Верба хлест! бьет до слез.
Верба бела — бьет за дело.
Верба красна бьет напрасно.*

народн. погов.

Ветки вербы, мохнолапки
Гладят небо нежно-ласко.
Наломаем гладких стеблей
И в дымах стихов хвалебных,
Озлатив свечей пушинки,
Растечемся по тропинкам
В паутинках вербной ночи.
Лишь бы ветер перескочный
Шаткий светоч не задул.

В море холодном тонут звоны,
Звоны кремлевские, плачи Москвы.
Плат старотканый в намеках разводов,
Только иконам клонивший поклоны,
У моря распластанный, пал с головы.
Звоны Ивановы, звоны великие
Куполозлатые, солнечноликие
Сплываются клубом в морской глубине;
Плавится колокол гулкий на дне.
Ночами в морских переливах глубин
Я вижу рассветы омытых соборов
И распластанный плат, расписной исполин
На красном крыльце в огняром узоре.

5 февраля 1920 г.

УХОДЯЩИЙ

На ветках березных
Треплются, ветрятся старые гнезда,
С неба стирают напрасные звезды.
Пароходы чужие в заливе безочем
Огни полоскают с лохмотьями ночи...
Дымятся громады,
А я воспаленным взглядом
Этих зрачкастых гадов
Толкну по плавучим грядам!
Прочь, уходите в ночь.
За ветром, за птицами в птичьи страны,
Я здесь одинок умираю от раны...
С кораблями, с ветрами земли крестницы
Птицы ушли из плачущих гнезд,
А мне прислонил бы кто лестницу
К черному небу до самых звезд.

Многогорность пловучих хребтов океана,
Многоморие зорных широт!
Глазовалы в обломках опалов
Хохоты глоток голодно-зеркальны...
Катятся зерна живых жемчугов
В горлах сапфирных бурлится слюной.
Задыбились, заглыбились солнечные глубины;
Серебряными рыбами запрядали хребты,
Друг друга съедают, ныряют в глубины
Граненые спины;
Разлились, разбились бурливо хвосты.
Наплыва опалов
В зеркальных овалах,
Распльвы, разливы, разливы вдали,
Где в пенности пыли
Чуть видно легли
На сапфирные рыбы бока
Облака!

Февраль 1920 г.

Я в новый год вступаю
При четырех свечах...
И с четырех сторон крамольных ветров стая
Стучит и рвется в ворота.
Железа скрежет, визги, лязги
Стекол звяки, снега пляски,
Вихри грив, победный бег;
Прочь запястья вялых нег!
В хмельный ветер на мгновенье
Сердце, красное биенье!
С песней вместе в звездный снег...
Я в новый год вступаю
При четырех свечах
И с четырех сторон косматых ветров стая
Ревет и рвется в ворота.

Под нов. 1920 год

*«Ангелы с пастырями славословят,
Волхвы же со звездою путешествуют».*

У малого народа
Два Рождества:
Шарики, орешки, пряники из меда,
Серебренье, блески, бусы, елочка густа.
А еще Рождество белое.
Ночью с неба в Божьи места
Ангелы тихо приносят тело
Крошки-Христа.
Волхвы идут его славить;
У них звездные сапоги,
Их сиянье снега перед ними плавит.
В ушах дрожат две жемчужных серьги.
Подошли к пещере,
В трепете сердца открыли скрипучие двери...
Здесь барашки, медведи смотрят на ясли
И лица животных радостно ясны.
Ангелы с крыльями
Ходят по лестнице
С неба на землю звездочно-пыльные
Нежно поют Боженьке песенки.
Заплакали от радости волхвы,
Закапали слезы на светлые сапоги.
Каждый снял шитую шапку с головы
И серебро серег берегло две крохотные ноги.

Декабрь 1919 г.

4 дек. 1919 г.

Пришла Варвара,
Ночь урвала.
Придет Никола в обмерзших усах
Прибавит деньку воробьиный шаг.
Молюсь Варваре, тропарь читаю.
Истово кроюсь большими крестами.
Молюсь Николе:
Ты сердобольный
Прибавь с воробьиный шажок мне силы
Чтобы лицо мое не походило
На скучные лики икон византийских,
Что плачут в сводах церквей.
В душевные времена свитки втиснуть
Душу мою не могу. Пожалей!
Святая Варвара
Ты много страдала
За то и достойна златого чертога.
О мне перед Господом слово замолви,
Буду всегда богомольна,
Только бы чувствовать радости Бога.

В каморку он днем приходил как все
С угольным тихим лицом;
И на краешке чахлой кровати присев
У окна, в облаках видел в рай золотое крыльцо.
А к ночи по улицам шел на заводы.
Сцеплялся с комками таких же уродов
И черное тело с верными нервами,
Крепло, росло в одно неизмерное.
Стопудно ступая, сутулясь меж трубами
Он намалевывал пальцами грубыми
Фабрикам огне-красавые окна —
Швы золотые на черных полотнах.
Заводил он один
Тугоухий гул машин;
Нутро земли потрошил
В печи дышал, не жалея жил;
Душные космы дымов распускал...
А к утру становился тих и мал.

1 февраля 1920 г.

Златно трубятся солдат завитки
В наклонных обрубках домин;
Красновихрятся лбы у моторов... гудки
Разглашают в открытые рты: гражданин!
Шорко топырься по улицам сорным,
Пальцем узлатым листок пропотей,
Яркий листок на столетнем заборе
И в небо зевни, не жалея челюстей!
Златно трубятся солдат завитки
В хрипах гогочущих уличных горл...
Взмахом швыряйте работ молотки,
Всаженный смачно чавкнет топор!
Корчатся, крутятся руки и груди
В красных тягучих кусках животы.
А в небе жестокое солнце полудня
Трясется от смеха в глуби высоты.

*Праздн. Свободы.
Февраль 1920 г.*

ПЕРВОЕ МАЯ – ВЛАДИВОСТОК

Ресницами солнца проколоты
Сердца закорузлых людей.
Глаза-то помазали золотом,
Растянули усмешки грустней.
От грохота гордого города прочь!
Эй! дурной не изурочь
Златотравненький денек.

.

Заломлю, как бывало, козырек,
Закручу на гармоньи веселье,
Закружусь на кругу карусельном,
Аль рубаха вышита
К лицу не пристала?
А шрапнельная заметка выше рта
Удали украла?
Кофтам майским, кофтам алым,
На подмиги не пойду?
Сапоги-то тихо хрипнут на ходу...

.

А петрушка балаганный
Намеленный, разноштанный
Выйдет голосить
О святой Руси:
Выведет кобылу сухохворую,
Да как станет хлестать с приговорами,
Я ль тебя, мою кобылку не любил,
Не до сыта тебя кровушкой поил?

Лошадь тощая тихонько пропищит:
Ты с меня, Петруха, силы не ищи.

Укатали сивку,
Все крутые горки,
Испостили в корень гривку
Глоданные корки...

.

Где вы, горы Воробьевы...
Вы калитки палисадные
С цветом-деревом вишневым,
Запахом помадным?
Разговорный самовар,
Золотые чашки,
Струнки жалобных гитар.
Зазывушки-милашки...

Не креститься мне у Спасских врат:
Все-то назло я себе наврал,
Я у моря желтомордого сижусь,
От коня одну держу вожжу.
«Лошадь тощая тихонько пропищит:
Ты с меня, Петруха, силы не ищи».



ΠΡΟΖΑ

ПО ЛЕНЕ

(Путевые впечатления)

Ранняя весна. Солнце ласковое, с мягким теплом. По склонам высоких, покрытых тайгой берегов, к реке спускаются сухие кусты багульника; они без листьев, но одеты ярко-розовыми, смеющимися цветами.

Я сижу на огромном бревне почти у самой реки. Приятно смотреть на кипучую работу. Здесь, в Жигалове склады товаров, идущих из Иркутска по Лене. Рабочие таскают мешки, ящики, бочки на паузки и карбаза, которые здесь называются просто посудой или *пошудой*, по местному выговору. Посуда сколочена наскоро: когда она дойдет до места назначения, ее все равно испилят на дрова.

По всему берегу дымят костры; между трех соединенных вверху палок в подвешенных ведрах варят кирпичный чай.

Картина веселая, здоровая, все в блесках солнца; кажется, будто праздник. Пахнет свежим лесом и весенней рекой.

Ко мне подсаживается грузчик покурить. Лицо у него красивое, худое.

— Вы куда же отправляетесь? — спрашивает он меня.

— Да жить думаем в Киренске, а пока все лето придется на пароходе по Лене плавать.

— Почему так? С экспедицией что ль?

Я объясняю, что муж поступил на службу в одно из пароходств, и для ознакомления с делом надо будет до осени не покидать парохода.

— Надоест, — сказал сосед.

— Как знать? Я люблю переезжать.

— А вы откуда?

— Из Москвы едем, а вы?

— Да земляки, я ссыльный; а вот и пароход ваш, самый лучший здесь.

Из за изгиба реки показался белый, сверкающий на солнце, пароход.

Через четверть часа он стоит у пристани, и капитан в огромной собачьей дохе и шапке с ушами (несмотря на конец апреля) приветливо встречал нас.

А вечером, когда заходило солнце, мы сидели в чистой, убранной со вкусом, рубке и пили чай.

В открытое окно неслись голоса людей, тянувших паузок с мели и по поясу стоявших в холодной, быстрой воде Лены. Между елок, покрывавших вершушку берега, пролезали красные лучи и падали на скатерть.

Было как-то странно: попасть в такую глушь, где все напоминает XV-XVI-й век на Днепре, и вдруг сидеть в столовой с электрическими лампочками; после теплой ванны, пить с ромом чай и слушать Собинова в граммофоне.

Не так-то уж страшно в Сибири!

Утро, едем по Лене. Погода великолепная. Все смеется, купаясь в солнце. Рябь реки растягивает солнечные пятна в огромное, сверкающее крыло, перья которого, трепеща, почти касаются берегов.

Вдали голубеют горы.

Река быстрая, на ней много островов, покрытых пухлыми ивами с прозрачными золотистыми верхушками. На отлогом берегу еще лежат гигантские сапфирные глыбы льда, не успевшего растаять. Немногочисленные пассажиры высыпали на шканц, залитый белизной до боли в глазах.

Смотрю на берега, дышу всей грудью и чувствую, что сила красоты давит меня. Распускается лиственница и веет тонким ароматом душистой смолы.

— Прелесть, — говорит один из пассажиров возле меня, — смотришь, и глаз просто не хватает.

Берега опрокинулись в бездну реки и покрыли ее синеватой дымкой. Длинными, дрожащими нитями свисают ветки берез над обрывами. Свежая трава вся усеяна лиловыми цветами в мохнатых чашечках. С неуклюжих сучьев тянется зелеными волосами мох.

А солнце, уже горячее, яркое, так и бьет по стволам...

Вечер. Запад уже истлел и будто отдыхает после пережитой страсти. На фоне мягких голубых провалов, между облаков, колышутся черные кружева лиственницы и ели на горе. Лена тиха, без ряби, и по ней выются тонкие серебряные кольца: прибывает вода.

Пароход белый, легкий, как птица, стоит у лесистого берега, на котором присели избушки крошечной деревеньки Осиновки. За избами — тайга, непроходимая, страшная.

Цветет черемуха. Белые гроздья, как восковые: они неподвижны. Мне кажется, что черемуха похожа на невесту.

Подходит старший лоцман, высокий, красивый мужик; он бреет бороду и носит длинные усы-стрелки. Немного хвастает тем, что сумел «выйти в люди». Одет всегда опрятно, и, глядя на него, представляешь его хозяйство в большом селе на Лене, его приветливую жену и весь порядок в доме. Он веселый, очень любит рассказывать разные происшествия. Жизнь тайги знакома ему всесторонне. Но самое важное место в его рассказах, как и у каждого ленца, занимают медведи, — медведи во всевозможных видах, позах и встречах.

Говорит он, как меткий стрелок: что ни слово, то в цель; и удивляешься меткости и простоте его речи.

Что-то он сейчас расскажет?

— Пойдемте, взглянем, как тайгу корчуют тут недалеко.

— Вот что! Идемте.

Прошли с четверть версты. Идти трудно. Под ногами громадные, обуглившиеся после пала, пни с обрубленными корнями, которые нагромождены тут же. Горбатые, пропитанные водой комья черной земли, вывороченные коряги и оставшиеся после них ямы с мутной водой... Все это должно превратиться в мягкую пашню.

Сумерки сгущаются.

Наконец-то перед нами — не то большой шалаш, не то землянка. Это жилище устроено из срубленных деревьев, обложенных дерном и корой.

Подходим к двери. Из темноты сразу впиваются в глаза красные уголья, сказочной горкой лежащие на земляном полу в углублении. По угольям перебегают огоньки и их прозрачные крылья задевают лица трех мужиков, сидящих у стола на пнях. Они пьют чай из кружек и едят сухую картошку, помакивая ее в кучку соли.

Лоцман начинает разговор, а мне хочется поближе рассмотреть жильё. В глубине сделано оконце, и через него голубоватый свет запада разгоняет темноту. Там, у стены, еще крошечный столик, на нем несколько книг, а рядом деревянная кровать, аккуратно прикрытая зеленым одеялом.

Душу охватывает какое-то смутное чувство, и я невольно прислушиваюсь к разговору и рассматриваю лица, но вижу только одно очень худое, с острым носом и выдающимися костями у подбородка.

— Откуда вы-то? — спрашивает лоцман.

— Из самой Москвы. Служил кондитером у Абрикосова.

— Давно оттуда?

— С 1905-го года.

— Где же это время были?

Худой проглотил картошку и спокойно ответил:

— В тюрьме: семь лет в Костромской тюрьме, а потом вот здесь. Летом корчую, зимой я салфетки плету. Товарищам хуже: ремесла нет.

— А надолго вас в Сибирь?

Он улыбнулся:

— Да навсегда!

И замолчали все вдруг. Шуршали угольки в золотой горке.

— Ну, всего хорошего, — сказал лоцман, выйдя на воздух.

Его слова вырвались на волю и понеслись в пространство, к реке, прочь из тайги.

Пошли обратно. Уже темно. Корни пней — как цепкие пальцы таежного чудовища, жадного и живучего; ямы с водой глядят подстерегающими омутами. И кажется, что сейчас вот сзади кто-то захочет, обидно издеваясь над нами.

Скоро Киренск. Я сижу на шканце среди пассажиров. На берегах жарко, а на реке ветерок приятно охлаждает.

Но вот пристаем к берегу грузить дрова.

Капитан, приземистый, с широким рябым лицом и рыжеватой бородой, беспокоится, как бы удобнее подвесить баржу, и кричит в рупор баржевым матросам какие-то странные ругательства.

Когда на перекатах баржа может каждую минуту сесть на мель, капитан предупреждает:

— Однако, господа, чтобы не было недоразумений, пусть сходят вниз те, кому неприятно слушать. Тут без крепкого слова не обойдешься...

Но сейчас все спокойно.

Хочется сойти на берег, почувствовать под ногами сочную траву, задеть лицом за мягкую хвою лиственницы.

К сожалению, пройти в лес нельзя, потому что весь он завален хламом и перепутан мелкой порослью.

Побродив по берегу, подсаживаюсь к капитану. Глядя на него и на Лену, я невольно думаю: уж не от слова ли «лень» появилось название реки?

Вот она катится, широкая, властная, жутко-красивая, никем и ничем не стесняемая, ленивая. И все заражаются этой ленью.

Капитан попыхивает трубочкой, матросы таскают свежие гладкие дрова лиственницы.

Делают они это не спеша, с шутками, часто отдыхая.

Если натаскают много, то придут к капитану и попросят масла, как дети просят у матери конфетку за какую-нибудь лишнюю работу.

Если капитан «в духе», он исполнит их просьбу.

Забываешь о том, что где-то есть другая жизнь. Спокойно и хорошо.

— А как скоро пойдём? — спрашиваю у капитана.

— Да, однако, скоро.

— А когда в Киренске будем?

— Однако будем!

Я смеюсь.

— Да, конечно, будем, а когда?

— Да Бог знает. Если без приключений, то завтра.

Он выколачивает трубку, потом вынимает бархатный малиновый кисет, постоянно торчащий из его кармана, и продолжает:

— Не люблю я говорить об этом: скажешь — да вдруг и хлоп, на мель! Вот вам и срок!

— Ну, так это непредвиденно, а как по расписанию-то?

— А, что там расписание. Ерунда... Вы видите, вот, какой у меня костюм-то? Сколько на нем сала, грязи... а разве от бедности? Да примечал я, однако, как новое в пути наденешь, так непременно что-нибудь случится.

И спокойно выколачивает трубку о дерево.

Я с нетерпением жду Киренска, где придется жить может быть, несколько лет.

И капитан, и машинист живут там же.

Опять стучит пароход, плывут пышные берега.

Иду расспросить о Киренске машиниста, который очень разговорчив. Истый волжанин, он всю жизнь провел на волжских пароходах и обожает Волгу. На Лену попал с пароходом, на который ставил машину. Волга и машина его больные места.

— А, ведь, «Полярный»-то быстро идет, поди, быстрее нас, — скажет нарочно кто-нибудь.

— Пошел к черту! — сердится машинист... — Давай на пари!.. Бутылку водки — если через час не обгоним...

И смотришь пароход уже идет быстрее... Машинист сидит в рубке и щурится на солнце.

— А ведь Лена-то значительно красивее Волги, — без умысла сказала я.

Он обернулся ко мне, смерив презрительно взглядом.

— Тоже сказала, — процедил он, и вдруг быстро, блестя глазами, заговорил. — Да разве можно сравнить? Что здесь? Ведь это так только, в охотку, а вот проедешь раз, два и надоест. А на Волге? Да там теперь кипит все: пар-роходы, бар-ржи... А города? Чего только нет! Осенью то-особенно: и арбузики, и яблочки, и помидоры... двойного сорта! Оно, правда, здесь воздух вольный, есть чем подышать; но здоровому человеку — тюрьма тут, прямо тюрьма.

Я невольно согласилась и с арбузиками и, в особенности, с помидорами...

— Ну, вот, смотрите! — потухнув уже, сказал машинист. — Вот, за этой скалой — Киренск.

Смотрю внимательно. Лена очень раскидывается, сливаясь с Киренгой. Налево берег скалистый, высокий; берег Киренги луговой.

На холмистом острове, весь в зелени, показывается Киренск, он как-то сказочен. Сразу вспоминается: «остров на море лежит, град на острове стоит».

Я декламирую вслух. Машинист смеется и вставляет:

— А мне он что-то невидимый град Китеж напоминает, когда тот еще не проваливался.

Пристали. С странным ноющим чувством иду осматривать город. Он беден, непригляден, грязноват.

— Грязи подходящие, — говорить идущий с нами матрос-ленец. — Шобор тут есть давнишний.

Собор, действительно, интересный, стоит лет 300. Он — самой простой старинной архитектуры. Темные бревна покрыты бархатным мхом, повсюду поставлены подпорки. Внутрь попасть не удалось.

Нечего больше сказать о Киренске. Вероятно, скуке и тоске здесь очень хорошо живется...



Прошли «Щеки» при восходе солнца.

Здесь Лена протискивается между крепких, складчатых, живущих с сотворения мира гор. Река делает два крупных поворота, извиваясь ловкой змеей. Поворот так крут, что кажется, будто скалистая стена преграждает путь.

Горы изрыты пещерами, оголены и украшены катящимися сверху камнями. При румянном, еще робком солнце, каждый куст, каждая лощинка, заросшая рослой травой, выглядывали во всей красоте и подчеркивали мощь и грозность гор.

А вот и Витим. Отсюда пересадка на Бодайбо. Самый Витим — это две длиннейшие улицы, застроенные деревянными, коричневыми от дождя домами.

Лоцман рассказывал мне о прошлой жизни этого городка страшные истории.

— Возвращается, бывало, золотоискатель с приисков. Ну, известно, мужики все больше. Денег много. Охота человеку разгуляться. А как, где? Ну, вот, накупит он ситцев, кумачу, наберет девок, мужичков, напьется и кричит, чтобы встречали его, да ситцы расстилали. Известное дело — дурь в человеке бродит! Ну, его и встретят. Был тут дом такой, с подвалом, да подземным ходом — прямо в реку. Вот заведут его, напоят, оберут, а самого тем

ходом подземным: отправляйся, гуляй по волнам! Много трупов вылавливали. Потом уж открылось это, а допрежь того не знали. Пропал человек, а почему, Бог его знает... А людей тогда почему зря били. Ребятишки, бывало, и те кричат:

— Тятка, убей горбача, я посмотрю, как он ногами дрыгает. Вот!

— А почему горбача?

— Да с сумками они с такими кожаными ходили, с приисков-то: ну, вот, так и звали, вроде как с горбом.

— А теперь?

— Теперь много тише... Теперь не те времена...

А Лена бурлит, плещется тихонько, будто слушает речь человеческую, и плеском подтверждает: верно, верно!..

Троицын день. Купанье. Пароход убран березками и лиственницей. Прибрались в рубке, на шканце, в кухне.

Но все-таки скучно, хотя и обильно льется солнце.

Подъезжаем к речке, которая называется Ура. Здесь начинается Якутская область. Ура кокетливо выбегает из огромных скалистых ворот. Ворота эти в дикой красоте своей очаровательны. Особенно одна скала, розово-желтая, в виде огромного столба, голая, вынырнувшая из лесистых гор своей гигантской головой. С противоположной стороны серые камни громоздятся друг на друга и торчат острыми зубьями на голубом небе.

Еще раньше матросы говорили, что, подъезжая к впадению Уры в Лену, они купают каждого, кто первый раз въезжает в Якутскую область. Я не придавала значения словам и спокойно вышла наверх полюбоваться на скалы. То же сделали и другие пассажиры. Но оказалось, что матросы в штурвальной будке спрятали ведра с водой.

— Ай, ай, озорники! — закричала молоденькая дочка повара.

Я оглянулась и поняла, что началось...

Делать нечего. Поднялся шум, крики, смех, который разрастался все шире и шире. Люки вниз были закрыты и охранялись матросами.

Конторщик, здоровый молодой мужчина пудов на 6, ехавший тоже первый раз, геройски встал на краю шканца и кричал:

— Ну-ка, ребята! Вали меня из брандсбойда! Так, так! Хор-ро-шо! Ну, теперь пустите переодеться.

Чесучовая рубашка смешно облепила его большое тело, с головы текла вода. Это подзадорило матросов.

Молодая горничная заперлась на ключ в своей каюте. Ребята отвернули ручку у двери и наказали горничную за упорство вдвое.

Черная глуповатая стряпка в мокрой юбке ходила полудовольная, полусердитая и «лаяла» матросов.

— Ничего не подделаешь, — кричали они, — обычай такой у нас. Сам губернатор ехал, так и его полили из ковшичка, а то вам спущать.

— Шпана-а! Чалдонье! — ругалась стряпка.

Приятно деловито постукивает внизу под водой пароход.
Скоро Якутск.

Проехали Олекминск. Время было послеобеденное; много солнца, зеленой травы. Город-село выглядывал весело. Вся местная интеллигенция высыпала на берег встречать пароход. Было несколько дам с яркими зонтиками, несмотря на сильный ветер, и с старомодными митенками на руках.

Здесь же впервые встретились с якутами и скопцами.

Несколько скопцов едут с нами в Якутск. Тучные, бледные, непременно с платком вокруг шеи, с кривящимися ногами, они производят впечатление какой-то законченности, спокойствия... Высланные давно из России, попавшие в чужую холодную страну, они принялись строить свою жизнь и создали сносные условия. Они собирают обильные урожаи там, где раньше считали невозможным что-нибудь получить от земли.

Я разговорилась с одним старичком. Он хвастался:

— Вот и якуты стали у нас перенимать. Тоже и рожь сеют, а до того хлеба совсем не ели. Мясо да рыба, да чай кирпичный с маслом. Даже огороды стараются разводить. Но, конечно, у них сил да и терпения не хватает. А терпения тут много надо: ох, как много! Здесь все против нас. И мороз, и земля, и дальность: достать трудно самое необходимое в хозяйстве. А все-таки у нас даже арбузы вызревают. Здесь, ведь, белые ночи помогают, так что свету достаточно. Но конечно вкусу того нет, что на родине-то.

Он вздохнул, помолчал.

— А все-таки вот, думаю, бросить все и уехать. Разрешение вышло возвращаться нам в Россию. Орловский я.

— А много тут прожили?

Он засмеялся женским смехом.

— Да двадцать лет.

— И все таки хочется назад?

— Хочется, да многие уж и уехали. Одна старуха... 90 лет ей было, так и та поехала умереть дома, на родных местах, да в дороге померла. Еще бы: это много значит — родина!

Замолчали. Вдруг как-то лень стало разговаривать; с берегов ползла голубая жаркая мгла, по реке перебежали золотые блестящие паутинки.

Пароход почему-то замедлил движение, послышался голос капитана наверху. На корму бежали матросы и кричали:

— Эй, рыбу покупать, кто хочет?

К пароходу подплывал якут в лодочке, аккуратно сшитой из бересты.

Она, как серебряная, поблескивала на солнечной реке. Якут ловко работал двусторонним веслом и кричал:

— Либа, либа, балык бар.

У него не было переднего зуба, а остальные, слишком длинные, выдавались, и он складывал смешно губы трубочкой. Он привез стерлядей. Их уложили в огромный таз. Рыбы били хвостами и сильно поднимались их жабры. За все ему заплатили 2 р. 50 к. Якут остался доволен, поблагодарил капитана, крикнув: «пасибо, тайон»; спрятал деньги в большой кожаный кисет и завилал на своей красавице-лодке.

Якутск. Подъезжая к нему на пароходе в ясный солнечный день во время разлива Лены, получаешь хорошее впечатление от него, как от всякого сравнительно большого города, которого давно не видал.

На узкой зеленой полосе, почти сливающейся с уровнем реки, имеющей здесь 15 верст ширины, вдруг показываются две-три колокольни, белые дома, цветные ставни. У берега много посуды, баржей, несколько пароходов; на пристани толпа народа. Целый праздник из-за парохода.

Выделяются странные, комичные фигуры городских якуток, в черных на английский фасон шляпах, широких кофтах и коротких, вздернутых спереди, юбках; в высоких мужских сапогах-ичигах. Под шляпой надет платок, а во рту массивная трубка. Таков городской костюм....

Якутск пылен. Улицы все немощеные, широкие, тесниться не к чему. Есть каменные хорошие дома, магазины, но большей частью темные (отличи-

тельное сибирское свойство), из крупного леса домики, с белыми ставнями. Тихо, скучно.

Мы на Вилюе, большом притоке Лены. Идет торговля с якутами. Происходит все как-то странно, по-сказочному. Остановится пароход возле глухого, богатого северной растительностью да огромными колючими комарами, берега, а через пять минут из-за прибрежного тальника начинают высываться головы якутов. Они все с конскими хвостами в руках для защиты от комариных туч; в ситцевых рубашках без поясов; ярких цветов нет; и сами они будто все одинаковые, серые, худые. Лопочут что-то, идут на пароход гуськом, боязливо, не отставая друг от друга, с любопытством рассматривают каждую вещь.

Многие приезжают на быках, запряженных в сани (телег нет), за бурдуком, т. е. мукой.

На нашей барже устроен целый плавающий магазин со всевозможными товарами. Главное же — это ситцы, табак, чай. Служащие не спят целые ночи, работа идет кипучая.

Со шканца хорошо наблюдать за жизнью на берегу. Якутские ребята все время играют в замусоленные карты. Карты и трубка — принадлежность каждого. Кричат однотонно, точно бранятся, якуты. Жаль, что ничего не понимаю.

— А чего там понимать-то? — говорит наш лоцман, весь красный от жары. — «Капсе» — это у них все... Тараторки.

— Капсе? Что это?

— Да вот сойдутся два догора (приятели); ну, и закапсекают; значит — все новости друг другу расскажут; верст за 300, что делается, все знают! Им ничего не стоит за 100 верст прийти пароход посмотреть, и каждый год ходят. Вот года два тому назад якут умер; с Амги приходил, он и не якут, да уж потерял русские-то обычаи и говорил по-русски плохо. Так он все на себя пальцем показывал: «мин — сон Макар». Писатель, говорят, там жил, так про него написал бытто! Я сам то не знаю, верно ли писал, и про него ли. Ну, а он хвастал.

Лоцман-якут, взятый из Якутска в помощь, знающий русский язык, слушал нас и улыбался.

— Верно, верно.

Я смотрю на его рубаху, серую, засаленную, и очень хочется узнать, какая она была: желтая или голубая. Я пристально вглядываюсь в складки и у ворота удается подметить, что она была канареечного цвета. Теперь мне понятно, почему я не вижу ярких одежд.

Белые ночи! Запад не гаснет до самого восхода; река не стирает румян круглые сутки. Паузки и карбаза — точно розовые большие птицы.

На пароходе почти не спят. И все время слышится говор, песни, смех. Из Якутска едет по домам учащаяся молодежь. Люди, которые хотят вознаградить себя за долгую зиму.

Особенно влияют белые ночи на якутов. Они пропадают на эгеканьях. Возьмутся за руки и, приседая в такт напеву, кружатся хороводом. Поют о том, что видят, все время на двух-трех нотах. С них катится пот, глаза стекленеют, голоса делаются хриплыми, а они все кружатся, почти до бесчувствия.

Белые ночи своими огромными глазами и розовыми щекочущими пальцами разбудили людей от спячки и не дают покоя, раздражая нервы.

Якут рад свету, рад теплу и мягким, втягивающим в себя взгляд, оттенкам летней тайги и реки.

Целую зиму долгими днями, когда от сильного мороза нельзя идти на охоту, сидит он с трубкой в зубах перед камельком.

Потрескивают дрова в объятиях пламени, рассыпаются золотой грудой и заколдовывают мысль, которая дремлет. Глаза слезятся от постоянного огня в доме и яркой белизны снега на воле.

Сидит перед камельком до тех пор, пока не придет догор поиграть в карты.

Как же не прийти ему в экстаз от этих белых ночей? Раз в год, как следует, просыпается человек!

Я тоже сплю часа по четыре и часто разговариваю с председателем, который едет с нами. Он — петербуржец, служит здесь семь лет и изъездил Вилюйский край вдоль и поперек. Якутов ненавидит, как и многие.

— Фруктики, язви их душу, нечего сказать... Вы бы знали, как они носят одежду. Если надел рубаху, не снимет до тех пор, пока не истлеет на нем. Если якутка гостей встречает почетных или сама пошла в гости, она напяливает на себя все, что есть, прямо на грязь — шелк. Они, язви их душу, страх

шелк любят...

— Да, ведь, он дорог?

— До-о-рог! Да вы не думайте, что они бедны. Есть такие кулаки, мое почтение! Скупщики меха, мамонтову кость скупают, а потом уж купцам продают. Наживаются страх. Доктору за визит по сорок рублей платят; правда, ему за триста верст верхом приходится к ним приезжать, но все же!

В это время в рубку вошли якуты. Они, как дети, оглядывали стены, потолок, трогали руками задвижки...

Заседатель, молодой, жирный, с веселыми глазами, давился от смеха...

Якуты вышли. Он сейчас же захохотал.

— Вы слышите, как хатонином запахло?

— Каким хатонином?

— Духи местные, от слова «хатон» — хлев.

И он стал рассказывать, как они делают посуду для замораживания молока из скотского помета, и едят это молоко; как они отвратительно доят коров; и как они живут всю зиму вместе со скотом.

— А какие они сутяги! Это ужасно! Ни один якут не обходится «без дела», а просьбы и жалобы посылает сразу в несколько пунктов...

— Конечно, это не мешает якуту всегда не выигрывать дела?

— Ну, да! Черта с два! Они там, язвы их душу, такую околесину напишут! Мошенники! Русского мужика объедают.

— Как это?

— Да так! Ему ведь постоянно хлеб выдается казенный, сам он палец о палец не ударит. Вы видели ли хотя одного босого?

Я припомнила: правда, даже мальчишки все в ичигах...

— Ну, вот, а наш мужик вечно ноги жарит да в лаптях шлепает. Якут да казак — два дармоеда. Им на душу по 1 пуду муки. У другого 4 мальчика, да сам, вот и 5 пудов муки и другие привилегии.

Вошел капитан. Он покачал головой на заседателя.

— Все якутов честите? А если бы им не выдавали хлеба, так с голода бы сдохли. Ведь, не родится хлеб-то.

— Ну, да! — кричал заседатель. — У скопцов родится, а у них нет...

— Да скопцы-то привыкли еще на родине к земледелию, опыт. А если бы якута чуть-чуть хотя бы грамоте научить...

— Да, это правда, — соглашался заседатель. — Ничего не скажу, народ смекалистый, но ленивый. А что школ нет, это кто ж оспаривает.

Капитан доволен и продолжает.

— Вы говорите, он хитрый, мошенник? А их-то как обманывают! Что с ними-то делают! А их хитрости все наружу. Он продает мороженую корову и между туловищем и ногами замораживает по кирпичу. Ну, на много об-

манул? Или еще: продает белку, которая для него дорога, а в середину горноста вложит, чтобы тяжелее была, и радуется, что обманул...

Воспаленные глаза мои плохо различают уже предметы. Лица заседателя и капитана кажутся мне одинаковыми... Я вижу, что заседатель, наконец, встает и уходит, а мимо ушей проплывают отдельные тяжелые слова капитана, но я хорошо запоминаю их.

— Судья какой! Про самого-то что говорят... Хлеб якуту выдают... Знаем, как выдают-то они! Взяточки. А как якут возражать, так сейчас выведет за избу, да в зубы, чтобы молчал. Что творят-то! Они его тоже ненавидят. Вла-а-сть!

Надо пойти отдохнуть. Отправляюсь в каюту.

За дверью 1 класса слышу дружный смех матросов. Что такое? Обычно они редко бывают здесь. Открываю дверь и вижу группу молодых, здоровых парней, которые столпились посреди 3-го класса, а в нескольких шагах от них на полу серый комочек с блестящими глазами, хриплым голосом и сморщенным от страдания лицом.

— Ну-ка, еще ее, еще!

Белобрысый детина подкрался к якутке сзади и сильно хлопнул ладонями над головой, она вся подпрыгнула и, взвизгивая, как разъяренная собака, бросилась на матроса. Он поднимал ноги, она делала то же. Он по-Обезьяньи чесал голову, она повторяла. Было что-то страшное в этих движениях и хохоте матросов. Наконец, женщина, обессилев, начала колотить парня по здоровенной мускулистой руке, стараясь укусить, и кричала что-то.

Случайно увидав меня, один матрос указал якутке в мою сторону. Она быстро вскинула глаза на меня, оглядела всю и вдруг притихла, подошла ко мне и заговорила таким ласковым, сокрушенным голосом, что мне казалось, будто она хочет сказать: нет, не может в ней быть нечистой силы, такая она тихая, такая тоненькая. Припадок кончился, женщина села у стены, и матросы стали расходиться, а один пояснил мне:

— Имирячка это... похоже на наших порченных, только эти повторяют все, когда припадок с ними; а начинается он, если чем испугаешь ее. Доктор ездил с нами по прошлому году, так делал с ними разные примеры, полатыни говорил, и некоторые повторяли точно.

Женщина, обессиленная белыми ночами, эгеканьями, болезнью и борьбой, лежала у стены, хрипло дыша. Легкий ветер взвевал ее холодаи, будто хотел успокоить. Он один и был, кто мог это сделать.

На востоке уже все было в золоте перед встречей солнца. На пароходе притихли; утомление уложило людей на несколько часов. Белоглазый свет смазывал краски на предметах. Все имело как будто болезненный, бледный вид. Ни о чем не думалось, ничего ярко не чувствовалось. Хотелось уснуть.

Мы побывали снова в Якутске и теперь идем по Алдану, а потом по Мае, его притоку, за чаями на Нелькан.

Опять — якуты и тунгусы, последних больше. Они красивее и опрятнее. На краю шканца стоит лоцман-тунгус, приятное лицо, со лба по черным волосам идет одна седая прядь.

— Как называется эта стоянка? — спрашивает его пассажир.

— Татта-тэрдэ!

— Ого!

Пароход пристаёт. Сейчас же тело охватывает страшная жара.

На берегу мелькают узкие, желтые пятна лиц, трубки...

Через полчаса я замечаю, что многие тунгусы лежат под кустами, некоторые чему-то смеются, оскаливая гнилые зубы и совсем прикрывая слезящиеся глаза. Ноги их не слушаются и задевают за траву.

— Что это они? Почему шатаются? — спрашиваю лоцмана.

Он лукаво прищуривается и показывает рукой в машинное отделение.

— Иди-ка, гляди-ка там!

Все равно делать нечего. Хожу возле пролета, из которого поднимаются и опускаются огромные стальные руки поршней.

Вижу — два тунгуса, крадучись, оглядываясь по сторонам, нагибаются по лестнице, ведущей в машинное отделение. В руке одного блестит рубль, который вдруг исчезает, а взамен рука машиниста протягивает чашку. Тунгусы жадно выпивают поданный спирт и уходят.

То же самое делается и у лестницы, ведущей в матросскую.

Стало как-то вдруг тяжело. Мелькали вопросы, сейчас же рождались ответы, не было виноватых; мысль пробуравливала толщу жизни все глубже, глубже и ударялась об основной каменный грунт...

...Я ушла недалеко от парохода и легла под густым кустом осинника. За шелковые стебли травы задевал треск кузнечиков. Вверху ветки шелестели, словно удивлялись чужому человеку. Пахло сухими соснами. В темной зелени пламенели гордые саранки, как раскаленные уголья.

СИЛА

(Очерк)

В «Коренную пустынь» несут икону Знаменской Божьей Матери.

Я иду в толпе, окутанной сухой, светящейся на солнце пылью, немного в стороне от широкой дороги. Под ногами мягко смеются, точно вышитые, желтые глазки одуванчиков.

Солнце приятно обжигает руки и спину. Хлеба только начинают колоситься. Жарко, но легко. Распластавшиеся зеленые поля уводят глаза к горизонту. О лесе и помину нет. Только вздувшиеся холмы с клинообразными полосами.

А по просторной дороге ползет длинным живым пятном темная толпа. Слипшиеся от пота волосы свисают на лбы, спины клонятся под котомками.

Вместе с черноземной пылью плывет над толпой гул от шарканья ног, позвякивания чайников, кружек; струйками разливается скороговорная речь. Люди идут непрерывно, на протяжении пяти верст, по неоглядному пространству, которое они сами, странной силой своей, покрыли драгоценными изумрудными коврами.

Над головами легко плывет икона. Впереди нее качаются девять громоздких фонарей. Они поставлены на крепкие носилки, и каждый из них напоминает маленькую шестигранную часовенку с зажженной внутри свечой. Многочисленные ленты колеблются в воздухе, словно длинные, шелковые волосы, и фонари начинают казаться неуклюжими головами с одним светящимся глазом.

Я иду по тропинке, пробитой на зеленой траве. Рядом со мной мужик с пышной бородой и густыми темными бровями. На нем белая, грубого холста рубаха с вышитым воротом.

— Ну, жарко же, — бормочет он, указательным пальцем сбрасывая пот с висков: — трудно народу Матушку-то нести!..

Сзади слышится смех молодежи. Девки в новых платьях — как яркие цветы среди зелени.

— Ишь, чего ржут, окаянные, — не оглядываясь, замечает мужик с пышной бородой: — ленив нонче народ стал, старики трудятся у иконы, а они глотку дерут.

От фонарей, с дороги, отделяется замызганный, взъерошенный, полурастопившийся от жара монах, звонит в колокольчик и выкрикивает:

— Православные, потрудитесь ради спасения душ: устал народ, сменить надо, для себя же, православные!

От нас отходят две женщины. Молодежь молчит, но остается. Борода-тый мужик останавливается и стучит корявой палкой о землю:

— Ну вот, я говорю, я верно говорю! проучил бы я вас, кабы моя воля!..

Одна девка, посмелее, блестя зубами и вытягивая слова, огрызается:

— Ты уж старый, тебе пора грехи замаливать, а мы еще успеем.

— Вера падает, — обратился мужик ко мне, будто не слыша девку, — идут, а зачем идут, сами не знают.

Молодой парень, расплевывая шелуху от подсолнухов, подает голос:

— Как зачем идем? Во-первых, помолиться, а потом народ повидать, вздохнуть: отпахались и отдохнем, а там опять кабала...

— Оглашенный, для себя же кабала-то!

— А это все едино, для кого.

Я шел быстро, перегоняя народ. Ворчанье мужика и женский смех постепенно отстали, но все яснее и раздельнее становился говор шедших впереди старух. Между ними была девочка лет десяти.

— А ведь она деревянная, — несмело говорила девочка, — как же она спасает?

— Глупая, она чудотворная, она на корешке явилась.

— На корешке? — протягивает удивленно девочка, как будто это слово самое важное.

Я заглядываю старухе в лицо; оно сухое, светлое, с большими голубыми глазами навывкате. От всей ее фигуры веет строгостью.

— Да, — спокойно говорит она, — на корешке! Приходит раз пустынный, что в том лесу спасался, к старому дубу: глядь, а у дуба-то икона на пенышке, а из-под пенышка ключ бьет. Видел-то, говорят, пустынный плохо, а как взял икону в руки, так и прозрел, хорошо стал видеть свет Божий. Доложил он о том архирею у город. Архирей велел привезти икону. Ну, милые мои, а она и уйди, икона-то, в тую же ноченьку, обратно!...

— Не захотела, значит? вот оказия! — удивляется другая, с круглой головой.

— Да, не захотела Заступница. А архирей-то самовластный был: хочу, штобы у городе была, да и только! Три раза приносили ее, и все разы Матушка уходила.

— Ну-у, — пела старуха, — и што бы вы думали? Ведь, посягнул, разбойник, варяга, велел ей ноженьки обрубить! ..

— Да, да!... — качая головой, лепечет слушательница, как будто слыша все это первый раз в жизни, — а ведь, ослеп сам-то опосля этого, говорят, да без ног стал?

— Без ног, да еще...

Но все настойчивее вьются возле меня звуки других голосов. Старик, навьюченный сумкой и одеждой, в лаптях, с зелеными блестящими глазками, добродушно похлопывает по плечу мальчика-подростка.

— Умаялся? Ну, и богомолец! а ты гляди, как настоящий-то народ трудится. Вишь, — махнул он на пахучие поля, — чьи этто руки? — хресьянские! А то Владычицу нетто сил не достанет донести? Не токмо што девять фонарей, а тридцать донесем! Вот это сила!

— Не болтай зря! где успел выпить-то? — серьезно остановил его мальчик, тяжело шагавший, с полуоткрытым ртом.

— А што ж, и выпьем и дело сделаем; это я, штобы не разморило; а ты деду не указчик! Я ужо десятый раз за иконой-то! Обет дал... Нетто столько народу хаживало? Э-э-х! Бывало, тучей народ-то!.

— В горле пересохло... Скоро што ль? — спросил мальчик.

— Теперь ужо скоро.

Солнце краснеет, волоча по полям низкие лучи. Длинные усики пшеницы резко выделяются и плавают, покачиваясь над зеленым морем. Изза холма ярко блестит купол монастыря.

Я оглядываюсь назад и с пригорка вижу всю тысячеголовую, потемневшую толпу с крестами и хоругвями. Делается страшно; страшно видеть, чувствовать ползущую силу и над нею небольшой деревянный четырехугольник, украшенный драгоценной золотой ризой. На усталых руках икона вздрагивает, наклоняется, и в ней нет уже ничего величественного. В памяти всплывают слова девочки:

— Да ведь она же деревянная?..

Ночь. Весь монастырский двор покрыт неровными, чуть шевелящимися комочками.

Слышатся вздохи, зевки, храп, молитва. Свежая душистая ночь быстро проглатывает эти короткие звуки.

— Ох, ноженьки свербит!

— Эй, Ерка, убери палку, у бок впилась...

Вздрагивают вверху звезды. Между дубов, разрезанная ветками, угольками горит луна.

Из келий, сквозь узенькие окна, пробивается желтый свет, и с ним —

густые, сдавленные голоса.

На широкой лестнице, ведущей в монастырскую гостиницу, жидко освещенной, стоит мужчина в городском пальто и новом картузе. А двумя ступеньками выше, напротив — толстый растрепанный монах.

— Говорю вам, отец, что жене моей худо, под кров ее надо. Ну, опоздали, позади шли-то, ну, найдите же место.

— Да говорят вам, эфиопы этакие, что все полно. Есть тут вот у меня чулан темный, — бери, коли хошь, за два целковых.

— О, царь небесный, да сжальтесь за чулан и два целковых! Тьфу! Верно, ты для праздника выпил лишнее, отец!

— А коли так, проваливай!

— Ну, и пойду! Ишь, отъелся на дармовых-то хлебах и лается!

Из темноты вынырнул мужик в изорванном зипуне, с всклокоченной бородой.

— Батюшка, нет ли у вас тут лекарки какого? Баба там у хате мается, хвороба какая-то с ней, с жару, знать.

— Какого еще лекарки? — загудел монах, — фершал хотел приехать из городу, да поди, ищи его! Буду я нянчиться с вами по ночам!

— Барин, може ваша милость будет чем пособить? — обратился мужик ко мне.

Я пошел с ним на село. У монастырских ворот, у ограды, расхаживали согнанные из горсуда стражники, топтались лошади, смешно упирались в небо оглобли. Изо всех изб ползли шуршащие голоса. Мы вошли в одну из хат. Здесь сразу меня укололи короткие, сильные стоны. На полу, на разостланных, сшитых в огромное полотно мешках лежали вповалку мужчины и женщины. Висячая лампа щурила тусклое пламя и едва отделяла одну фигуру от другой.

В каморке несколько человек пили чай с душистым ржаным хлебом.

— Дай-ка еще скибочку! с устатку-то естся, — говорил мужик. Я узнал в нем бородатого с вышитым воротом.

— Полегчало старухе-то: стонет, а ничего; а то уже думали — конец. Дюже маялась. Пекло днем-то здорово.

— Рожь, значит, ядреная будет, — пробасил бородатый.

Когда я проснулся, солнце красило разостланные мешки в медный цвет, а

все предметы рдели багрянцем: должно быть, сочный, ослепительный будет день! В горнице почти никого не было. Сильно звонили колокола и тянули на улицу.

Я отправился в дубовую рощу, которая идет прямо от главного храма. В церкви шла служба, и пение переплеталось с шумным говором, сгущенным особенно у ключа. У того самого, где на «корешке» явилась когда-то «Владычица». Каждый богомолец считает долгом побывать у ключа, напиться водицы и бросить на деревянное дно колодца свою лепту.

Монастырь стоит на горе, и белая ограда его лестницей спускается по просеке к реке.

Просека поросла мелким курчавым дубняком. Она открывает неоглядные хлебные поля.

Здесь, в роще, голоса почти не слышны. У самого ее начала, слегка в гору тянется длинный яблоневый сад, весь облепленный белыми, бледно-румяными от утреннего солнца цветами. Серые корявые стволы кажутся тоненькими подпорками огромной белой кущи.

У калитки стоял сторож-послушник с мелкими светлыми кудрями, торчащими из-под скуфьи.

Я подошел к нему; разговорились. Солнце пригревало нас и сближало.

— Хочу уходить, — тихо говорит он мне, — не то, чтобы из-за баловства; нет, я по своей воле пошел, да только обидно!

— На что обидно?

— На все; а больше на богомольцев. Пять лет живу, и каждый год два раза это странствие совершается... Ведь, страшно сказать-то!...

Он сильно вдохнул в себя душистый свежий воздух и крепко захватил в руку кудри, блестящие на солнце мелкими дрожащими радугами.

— Пустяки все! — отрывисто бросает он, — даром сила ломится! И вера моя пропала: не то что-то! Кабы эту силу, да... ну, не знаю куда!.. Оно, правда, народ все больше глупый, без толку ходит: другой и молиться-то не умеет путем, он ума-то собрать не может. Ему абы сходить. А есть, видел сам, так молятся, так верят!..

Он наклонился близко ко мне:

— Ну, а чуда-то я не видал! ни одного! Простите, а другой раз зло у меня кипит на икону-то, а на народ и того пуще: ведь издыхают некоторые от жара, от духоты. Последний грош в колодец бросят... А зачем? Покорность проклятая!

Отбрасывая полы подрясника, он нервно зашагал у изгороди.

Солнце уже раскалилось, и белые шапки яблонь стали ослепительны; по дорожке, между опавшими, нежными лепестками, бегали яркие пятна. На ближайшем дубе запел соловей. Мне кажется, что я никогда не слышал

лучше этого.

— Ишь, заголосил! — успокаиваясь, детски-мягко улыбнулся монах, осыпанный солнцем, — знаменитые они у нас!

Несколько минут солнце, яблони и соловей окутывают нас мягкой, убаюкивающей паутиной...

И вдруг, справа от колодца, послышались тревожные крики, которые приближались и вот вырвались из-за угла вместе с людьми, тащившими на руках неподвижную женщину. Обутые в лапти ноги торчали впереди, точно отдельные. Монахи отгоняли толпу.

— Отчаливай, отчаливай! Задавили, да лезут еще! Окаянные! Навязало вас, сумленных, на нашу шею!..

Женщину пронесли в сторожку, недалеко от сада.

— Что еще такое? — с беспокойством спросил мой собеседник.

— В чем дело? — обратился и я к толстому, с засаленным животом монаху.

Его лицо неожиданно изобразило улыбку.

— Задавили насмерть у колодца. Мужик какой-то клюку в давке поднял и прямо ей в это место! — он ткнул пальцем под свой кадык. — Податься-то, хошь лопни, некуда; ну, и прикончили!.. — Бестолочь! — поясняяще прибавил он: — будто не успеют!..

Колокола наперебой разрывались, крича о человеке и бросая в затканное солнцем небо разнотонный гул, в который изредка врывается падающий с дуба тонкий соловьиный свист.

Я смотрел на монаха с золотыми кудрями.

— У ключика побывала!.. — прошипел он, глядя бессмысленными глазами вдаль через просеку, на спокойные, четкие в утренней свежести поля...

Солнце по-прежнему осыпало его своим блеском, отражаясь от лакового черного пояса, но лицо монаха было сурово, и он не замечал, должно быть, ничего, погруженный в свои думы о пропадающей даром силе.

СЕРДЦЕ В ТЮЛЕ

Прежние друзья и знакомые стреляют друг в друга в нашем городе, и потому пятые сутки я вижу небо только сквозь окно, слегка расшитое жемчугами декабря.

Опять шлепнулась пуля в ствол дерева; с веток нежно ссыпался снег; чуть застонала старая лиственница. Сугробы в саду полнолуны и разрисованы деревьями, домами, заборами. Морозная тишина чутко поджидает каждый выстрел и пожирает его жадно с треском и хрустом. Пятую ночь на зеленом столе сонно оплывают стеариновые свечи, отражаясь в зеркале. Я люблю смотреть в зеркальные наклоны; там, в отдалении я вижу отца. Он все больше жмет к печке, прокованный огненным печным миром.

Вчера он выкурил последний табак и ему невыносимо. А мне кажется, что пахнет покойником; от этого тошно и я перестаю понимать.

— Ничего не понимаю! — шепчу я в отцовские глаза сухозубой улыбкой.

Стук!

Ничего, это сосед по квартире.

— Я вам табачку! —

— Голубчик, родный!..

— А вы мне хоть полсвечечки: все огарки сожгли, темно в погребе. А в детскую еще несколько пуль влетело.

Я подаю свечи; глаза падают на песочный галстух. Каждый день он приползает сюда через маленький кусочек двора из подполья, где шестеро детских голов подпирают кухонный пол.

— Вы бы тоже в погреб.

— Напрасно, с нашей стороны не стреляют.

— Но кто-то без конца хлопает у вашего забора. Какой-то забубенный. —

— Пусть хлопает. —

— Ну, иду, иду! счастливо! —

Уплывает песочный галстух. Опять у отца огненное лицо, обрамленное тошнотной тишиной; а я снова вижу зачерненный тенями лунный снег. Я не боюсь выстрелов, кажется, не боюсь и смерти, хотя мне лишь 18. А если солдаты?.. Посмотрим!

Чем бы развлечь отца?

Свечи, зеркала, белые меловые стены... сюда бы маркизов и маски...

Стой! глупая башка; я буду Пьеро!

В густой пудре лицо; два листа бумаги в гармонику — какое пышное жабо!

Гулко гукнуло тяжелое орудие...

Я сбрасываю шелковую юбку; отцовские белые кальсоны, схваченные внизу и нижняя его сорочка — эффектный костюм! Обожженная спичка делает из бровей резко-сломанные крылья.

Я сливаюсь со стенами, таю в луне; потом, легко попрыгивая, появляется Пьеро у огненной печки перед отцом, вытягивает струной ногу.... и....

В судорогах забилась входная дверь... Нога медленно идет вниз, а взгляды крепко цепляются друг за друга.

Солдаты?... отец снимает дверной крючок.

Солдаты!

Я беру револьвер с зеленого стола, сажусь на подоконник и задерживаю плюшевые гардины. Сквозь маленькую щелку я смотрю пристально в зеркало напротив... Идут с винтовками; качаются в свечных сумерках большие серые лица.

— Оружие имеете?

Отец отвечает — нет.

— Не признаешься? обыск! У тебя кто еще есть? —

— Дочь! —

Они идут, я сростаюсь с оконной рамой.

— Ищите оружие, ничего не жалеть!

Царапая притихший воздух, процыкали точно спицы концы винтовок, прислоненных к стене. Крякнули решительно носы и сапоги.

Первыми упрямо закричали и заскреблись о пол ширмы, расцветшие нежными цветами яблонь; смотря на них я мечтала о Японии. Затем, стянутые с кровати, вспенились перьями, распотрошились подушки, и в перьевом крутящемся воздухе запрядали вниз сорванные с гвоздей предки в крутых кринолинах и гордых воротниках. За ними книги.... о, книги, кормилицы бумажные, питавшие мою душу...

Харя разрушения бросает взгляд в гардинную щелку.

Рвануться, выстрелить, кусаться? все равно они неминуемо сорвут мою гардину. Что будет с белым Пьеро?

И вдруг чудом рыгнула, содрогнувшись, ночь; разинулась красная пасть, вверх шарахнулись перья.

Взор-р-вался снар-ряд за окном!

Смерть? В перья Пьеро! прочь гардины.

Дергаю их вместе с карнизом, оставляя под ними револьвер, врываюсь в середину и в красном чаду начинаю крушить.

Бьются вдребезги абажуры электрических арматур и хрустя по стеклам выбрасываются из стола отцовские бумаги и рукописи. Я открываю гардероб, швыряю черное, дрожащее бисером платье матери, старинное, кото-

рое я хранила и рядилась в него. Вот мои, как крылья легкие прелестные платья. Топчу их и кричу. Кружусь и широко расправляю руки смерти. Она хохочет громче меня, у нее мужской грубый голос, несколько голосов сразу...

Еще Пьеро? Я вижу второго Пьеро, растроганного, раскаленного, в красных провалах лица!.. За ним отец со связанными руками и ногами. Я бросаюсь вперед, на Пьеро, к отцу... Мне больно... качается, летит вверх ногами... я падаю, запах покойника схватывает меня и скручивает тошнотой.

Помирились, похоронили мертвецов, украсили улицы. Целую неделю за окном стучат топоры, вставляются новые стекла....

У отца много табаку; он курит до усталости.

Ползет вечер красными губами по стенам; снег улыбнулся последний раз и притих, посинев. Щелкает выключатель, но комната остается темной: ток прерван. Опять я зажигаю свечи и ложусь па диван; я угадываю запах крови и смерти со щупальцами тошноты. Глаза впиваются в три слепые шарика электрической люстры и ждут, когда шары прозреют ясным светом, засмеется комната, сдохнет подлый запах... Каждый раз теперь красноватое пламя свечей, появление песочного галстуха и старинное платье матери, приносят смертный запах, скрутивший тогда изрезанного Пьеро. Каждая ночь без электричества приводит один сон: я открываю гардероб и к ногам, хрупко дохнув, падает тюлевое платье с бисерным трепетом в свечах... Черное облако, которое я прижимаю к себе и, холодея, нащупываю в складках комок, красный, тающий... Сердце! красное сердце в тюле старинного платья, которое я топтала и... они тоже.

Это невыносимо; этот смертный запах и сон... Прошлое, невидимое опять дышит на меня тоской смерти, которой я тогда не боялась.... Прошлое не желает уйти и бьется красным сердцем. Прошлое плачет в свечах...

Это все от свечей, от свечей!..

И потому я впиваюсь в грозди слепых пузырей на потолке, полные до краю темнотой и жду, жду вместе с ними, когда пыхнет свет, чтобы ушло, сгорело...

В ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ В. В. ПРУССАК<А>

Сидеть в вагоне беззаботно
И думать: скоро дом родной;
Прищулив глаз полудремотно,
Быть пьяным солнечной весной,
Следить, как зайчик шаловливый
От медной ручки у дверей
По стенке бегаёт; лениво
Открыть страницу прошлых дней...
Сойти на станции в сверканьи
Капелей, падающих с крыш,
Пить чай под спешное жужжанье
И смутно помнить: Крым — Париж...
Потом, под вечер, насмотревшись
Полей, лесов, угрюмых рек,
Иркутск припомнить, потускневший
Для вас... счастливый человек!
А я стараться буду, реже
Ходить Амурской, где одна
Есть дверь парадная, все те же
Под ней, как прежде, письма.
И так же в тихом коридоре
Бьёт каждодневно шесть часов,
Но в чём-то номере не спорят,
Не слышно чьих-то голосов.
Как прежде нервное «войдите»
Не скажет юноша-поэт,
На книги голубые нити
Не бросит лампы тихий свет.
В гостиных модных Петрограда,
Где «язви» Вам сказать нельзя,
У Сандера, за шоколадом
Вам не припомнятся друзья?
Журавский бледный и серьёзный
В сосредоточенных очках
И поэтессы грациозной,
Тоска в застенчивых глазах?

.

Забывать нельзя, нельзя, я знаю,
Как этот старенький размер,
Любимый Вами...

В марте, когда дорога через Ангару-реку была хлябкая, и холодная вода уже выползала из больших трещин, когда гольцы особенно сияли солнцем — Владим.<ир> Владим.<ирович> или Вавочка, ссыльный гимназист, скользя по весеннему снегу декламировал любим.<ые> им строки Бурлюка: будем лопать камни, травы... Юное лицо нервно смахивало грусть по Петроградск.<ой> весне, чуждость Сибири; и мы старались, смеясь, извлечь из окружающей жизни все, что может не убить радости и надежды. Будем лопать камни, травы...

Через несколько месяцев в стране, где снег, глухие, крупнобревенчатые дома и белые ставни — компания из 5 поэтов каждый день уже собиралась в маленькой комнатке с пихтовыми ветками, изящными вещами и голубым абажуром. Читали, спорили, жадно вылавливали все относящееся к искусству, что случайно приплескивалось к берегам Ангары из далеких столиц России. Появились цветы на свалке — первая книга стихов Пруссак. Мальчик-поэт, Вавочка-маэстро не только сам не терял время ссылки, он и других тянул к работе. Вышел первый Альманах Иркутск.<ие> Вечера и журнал «Багульник»...

Скромный первоцвет — сибирский багульник, свежо алеющий на безлистных еще кустах по склонам хмурых гольцев.

Потом «Деревянный Крест» — вторая книга стихов Пруссак.

Прошел год. Иркутские морозы слишком остро дохнули на хрупкого юношу. В марте мы провожали его обратно в Петроград, освобожденного от ссылки, но больного, только вставшего после долгой легочной болезни.

Но... не туберкулез отдал его в руки смерти, а нелепость, рожденная общей разрухой. Сообщают, что Пруссак умер во время операции, которая была прервана в самый опасный ее момент — потому что в городе погасло электричество.

Немногие те, кто работал с ним — не забудут этого юношу.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дальневосточные поэты

ВАРВАРА СТАТЬЕВА

«Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь.
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!» —

— выкрикивают блоковские «Двенадцать», пытающиеся, быть может, не-
лепо, по-вандальски, но со святою правотой, в предчувствии какой-то но-
вой, неосознанной культуры, спалить старый мир.

«Эх, эх, без креста!» —

— боязливо приговаривает на перекрестке старушка.

Мы не одержимы этой старческой боязнью, но, за визгом бесплотных
схем, алгеброй вещаний и знаков, и у нас, там, где-то, в глубине подсозна-
тельного, мельтешит тревога, — тревога не за быт, которого уже не вернешь,
не за «кондовую, избяную» Русь, которой не воскресишь, а за то, что в лом-
ке старого, испачканные известью и глиной, серые от закирпичной пыли, мы
и шумы леса уже позабыли, и запаха ржаного поля не ощущаем, и листоч-
кам клейким больше не радуемся.

Быт — дело наживное. Поэзию морковного пирога и «пташки-кинарей-
ки» можно променять на новую поэзию. Но мы, как Антей, теряем силу, от-
рываясь от земли; мы становимся кривобоки и сухи, теряя «чувство мест-
ного колорита»; мы спускаем мясо с костей, питаемся по продовольственным
карточкам отвлеченного.

Может быть, это и правда, что поэзия наша несколько замудрствова-
лась; может быть, она действительно недостаточно нутряна и наивна; мо-
жет быть, «черниговская», земляная, беспретенциозная поэзия Варвары
Статьевой есть черноземный зов к забытым запахам, к перебегающим цве-
точным пятнам, к юности, к зеленым шумам?..

Может быть.

* * *

Сила русского искусства всегда была в его огромной **осязательности**, ненависти к византийству, в полновесно-неуемном взлете.

Гейневские сто центнеров голландского сыру, прикрепленные к ногам, никогда не мешали нашему искусству вздыматься к небу. Все бесплотное, не нутряное, постное, из-под себя надуманное — никогда подолгу в нем не заживалось, умирая смертью нечестной.

Уже у Тютчева, наряду с алгебраическими Фебами, встречаются такие **зрительные** полновесно-осязательные взмахи, как —

«Копыта кинешь в звонкий брег
И в брызги разлетишься».

Или:

«Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста».

У Пушкина они еще круче:

«Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой». —

— где **звуковая** осязательность, вдобавок, неизгладима.

У Некрасова, при звуковом и зрительном (порой скульптурном) впечатлении, характерна и осязательность **обоняния**:

«Чу, стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги, —
Обоняние тонко в мороз»...

Или, — запахи Петербурга:

«Проехал воз; ни рус, ни сед,
Чухонец им курносый правил
И ельника зеленый след
На мокрой улице оставил».

Волга у Некрасова не только «плывет», но и пахнет. Даже у Горького, в какой-нибудь преднамеренной, с начала до конца

надуманной и совершенно чуждой осязательности «Песне о соколе» (не в пример прозаическим его произведениям) — наталкиваемся на такое, до болезненности, осязание запаха, —

«И пахло гнилью», —

— от которого трудно отделаться. Поэзия Варвары Статъевой, в этом смысле, чрезвычайно чувствена. Вся поэтесса — земляная, «курская».

* * *

«С улыбкой слушаю ворчливый скрип колес,
Качаясь в колеях глубоких чернозема;
Рвет встречные цветы ныряющая ось
И хочется скорей знакомого приема.

Не видя вижу двор. Над тусклой лебедой
Склонившийся плетень, лиловый хворост в груди.
Вот сени, горница, иконы чередой
И раки красные на деревянном блюде».

В звуковое впечатление, впечатление глаза и обоняния вплетается порой и **осязание вкуса**:

«Толпа и поле. Толпа и небо,
И душный запах созревшей ржи.
И сытный запах краюшки хлеба,
Что ест девчонка, присев у межи».

Любовь к расцвеченным ковровым пятнам, к зною, к воздуху, к скороговорке, к черноземной пыли, к запаху смолы — характерна для поэтессы. Вот — несут икону «Знаменской Божьей Матери»:

«Иду в толпе, окутанной сухой, светящейся на солнце пылью, немного в стороне от широкой дороги. Под ногами мягко смеются, точно вышитые, желтые глазки одуванчиков.

Солнце приятно обжигает руки и спину. Хлеба только начинают колоситься. Жарко, но легко. Распластавшиеся зеленые поля уводят глаза к горизон-

ту. О лесе и помину нет. Только вздувшиеся холмы с клинообразными по-
лосами.

А по просторной дороге ползет длинным живым пятном темная толпа.
Слипшиеся от пота волосы свисают на лбы, спины клонятся под котомка-
ми.

Вместе с черноземной пылью **плывет** над толпою **гул** от шарканья ног,
позвякиванья чайников, кружек; **струйками разливается скороговор-**
ная речь. Люди идут непрерывно, на протяжении пяти верст, по неогляд-
ному пространству, которое они сами, странной силой своей, покрыли дра-
гоценными изумрудными коврами.

Над головами легко плывет икона...»

Впечатление цветочных **пятен** гармонически сливается с их **плывуче-**
стью и обонянием:

«Домотканая рубаха полотняная.
Красные ластовки глазыньки жгут.
Косы ржаные, пряные,
Над бурьяном по ветру плывут».

Солнце — на берегу Байкала — и то «выплывало» из-за гор щетинис-
тых, «на жарки дышало пламенем»:

«Истекали сосны смоляными соками,
И тайга кадила ладаном шелковистых лиственниц»...

* * *

Большую роль в писаниях поэтессы играет Москва. Воспоминание о преж-
них запахах, плывущих пятнах и цветущих звуках достигает — здесь у моря
«желтомордо»-голового — почти болезненной, в своей осязательности, тоски.

А петрушка балаганный
Намеленный, разноштаный
Выйдет голосить
О святой Руси:
Выведет кобылу сухохворую,
Да как станет хлестать с приговорами,

“Я ль тебя, мою кобылку не любил,
Не до сыта тебя кровушкой поил?”

Лошадь тощая тихонько пропищит:
“Ты с меня, Петруха, силы не ищи.

Укатали сивку,
Да крутые горки”...

.

Где вы, горы Воробьевы...
Вы калитки палисадные
С цветом-деревом вишневым,
Запахом помадным?
Разговорный самовар,
Золотые чашки,
Струнки жалобных гитар.
Зазывушки-милашки...

А Москва-то, Москва — вся, как на ладони
Золотая голова с Иваном-колокольней.

...Не креститься мне у Спасских врат:
Все-то назло я себе наврал, —
Я у моря желтомордого сижусь,
От коня одну держу вожжусь...
Лошадь тощая тихонько пропищит:
Ты с меня, Петруха, силы не ищи».

Здесь — уже вплотную подхождение к той «избяной», к той «кондовой»
блоковской Руси, которую надрывно расстреливают святые «Двенадцать».

Но без этой «кондовой» московской Руси, с «золотой головой», с Ни-
колой, — поэтесса бессильна. Здесь, — «у моря желтомордого», — она во
власти малокровного византийства, органически не свойственного ее чувст-
венному осознанию:

«Молюсь Николе:
Ты — сердобольный,

Прибавь с воробьиный шажок мне силы,
Чтобы лицо мое не походило
На скучные лики икон византийских,
Что плачут в сводах церквей.
В душевные времена свитки втиснуть
Душу мою не могу, — пожалей!
Святая Варвара,
Ты много страдала,
За то и достойна златого чертога,
О мне перед Господом слово замолви.
Буду всегда богомольна, —
Только бы чувствовать радости Бога»...

«Чувствование радостей Бога» — для поэтессы неразрывно связано с истинно-курским, «кондовым» бытом.

Будем надеяться, однако, что новая, творимая «святою чернью» Русь — будет неизмеримо прекраснее.

Быт — дело наживное.

Поэзию «разговорного самовара», «струнок жалобных гитар» и «раков красных на деревянном блюде» — не жаль променять на новую поэзию.

...Но запаха ржаного, но малинового звона и листочков клейких — жалко.

**Варвара Статьева. Стихи. Т. 1. Страниц 54. Восточное к-во
«Даль». Шанхай 1920 г. Цена не обозначена.**

От первой книги стихов начинающего поэта всегда ожидаешь молодости. Молодости во всем: в восприятиях стихотворных форм ранее уже использованных, в разработке тем и самих темах, и, наконец, в способах закрепления «тех дней, когда еще» так... «новы все впечатленья бытия».

И с радостным волнением отмечаешь те дорогие lapsus'ы поэта, которые уже определяют его своеобразие, «необщее выражение» лица его музыки, если даже поэт не воспринял общей техники стихосложения, не богат еще ритмами и рифмой.

К сожалению в разбираемой книге именно этой поэтической молодости, при самом внимательном отношении мы не обнаружили. Спутанность и неясность метрических построений в ней никогда не выходит за пределы «принятого» и «дозволенного», тускловатая рифма нигде не вспыхивает молнией восторгнувшегося музыкой слов духа, а заранее заданная обязательная тематическая любовь к России и Москве нигде не поднимается над уровнем Тютчевского еще смиренного, сбавленного к тому же до горечи и, подчас озлобления по отношению к России сегодняшнего дня («Разгром», «В театре», «В море холодном тонут звоны», «Знатно трубятся», «Первое мая»).

С другой стороны, именно те отступления от обычного построения фразы, которые знаменуют собой будущий собственный язык начинающего поэта, те ляпусы, которые еще Пушкин сравнивал с «улыбкой румяных уст» — встречающиеся в книге В. Статьевой — свидетельствуют скорее об ослабленном чувстве слова и слога чем о желании преодолеть его по-своему.

«В оранжевой кайме береговых зигзаг» — (вм. зигзагов); «Премудрости в былинках соль» (книжно и вычурно; напоминает ходячую фразу: «В чем же тут соль?») Напр., в строфе:

«...Веселый дед любил порассказать о старом.
О палачах, о барах беззаботных,
О черте, что покойником Назаром
Водил его до света по болотам»...

остаётся неясным — черт ли превратился в покойника, или же черт превратил деда в покойника Назара и водил его.

В строфе:

И мимо серы, с горячим потом,
С горбами сумок, они, в грехах,
Несут царицу, и над киотом
Взлетают ленты на пыльных волнах.

поставленное неудачно прилагательное (мимо серы...) возбуждает совершенно ненужную ассоциацию с серой (сущ.), мимо которой несут и т. д.

Полное недоумение иногда вызывает неумелое обращение с синтаксисом, напр:

«Ночами от притонов ютится наглый свет».

Глагол «ютиться» уже сам по себе вызывающий представление о стремлении успокоиться, скрыться, поставленный в ряд с этикетом «наглый» да еще сопряженный с предлогом «от» — совершенно противоречит намерению автора дать картину падающего из притонов света. Наоборот согласно построению фразы получается впечатление что «спрятаться от притонов» хочет какой-то «свет» чуть ли не в переносном смысле!

И таких путаных фраз немало: «смотрю с колокольни великой в мире» (очевидно: самой великой?)

Нельзя сказать «желтые бурята» (котята, щенята) так как это уменьшительное будет от буров, а не от бурят.

Странное онемение фразы происходит от повторяющегося чрезмерно отрицания.

«Как будто не шумел и не жил день недавний».

Неудачны неологизмы — «востленных трав», «ветер перескочный», «шорко» (?) «палец узлатый».

Формально восприняты автором и славянимы. Напр., глагол изурочить — украсить, В. Статьева употребляет, в смысле изуродовать (эй дурной — не изурочь златотравенький денек!).

О ритмах автора говорить не приходится. Их или совсем нет, или они взяты напрокат у первого припомнившегося автору «стиха», причем даже и этого смутного размера В. Статьева не выдерживает, сбиваясь и путаясь на каждой стопе. Вот характерный пример:

Захотелось автору написать жутко-мистическое стихотворение. Есть подходящее настроение, удобный письменный стол и свободное время. Лиха беда нет размера. И в беззащитную гавань души, открытую всем ветрам ритма свободно влетает «Ворон» Э. По:

— «Кто же там шумит ветрами белых складок белых лент?»

Дальше конечно — «кто-то».

«Кто-то снежный, к песне страшной»

И... — срыв на прозаизм:

«Подбирает тихий аккомпанемент».

Этот «аккомпанемент» настолько безнадежен в смысле ритмики, что невольно напоминает пресловутые упражнения Лебедева¹ из «Бесов»:

«...Улыбается с лошади шутя
...Аристократический ребенок!».

Несколько лучше дело обстоит в свободном стихе, встречающемся к концу книги. Но и тут ни разу ритмический сплав не принимает той или иной музыкальной формы, оставаясь обрывками мотивов когда-то где-то-слышанными, да к тому же еще и сильно переиначенными плохим слухом.

Рифм в книге нет совершенно, если считать рифмой созвучное речение, пришедшее в душу самого автора. В. Статеева пользуется понятием ассонанса, предлагая его читателю иногда в виде одного параллельного слога, иногда — в виде двух совпадающих в конце букв (незвучащих); формальность такой рифмовки делает стихи совершенно заглушенными, пригодными для чтения только глазом. Вот пары слов, которые автор выдает за рифмы:

камней — карасей (ей)
свет — согрет (ет)
осень — космы (ос)
богами — губами (ами)
ночей — полей (ей)

¹ Так в тексте (*Прим. ред.*).

Эти «рифмы» взяты наудачу с 1-й страницы книги. И из них уже видно что такая рифмовка, — напр., надставки множественного числа родительного падежа им. существительных может продолжаться бесконечно и на второй и на третьей страницах, до конца книги не утруждая автора. В самом деле: «Камней-королей-ночей», мало ли имен существительных?

Не лучше дело и с остальными более сложными ассонансами:

Сибири — лиры,
кулишка — затишье,
холстами — густая,
говор — новый,
Степане — атамана,
на родину — сводами,
старенький — испариной,
беззаботных — болотам,
изумруд — переведут,
буден — скудных,
звездный — грезить

и т. д. и т. д.

Как будто бы автор задался целью собрать все плохо рифмующиеся слова и раздражить ими даже невзыскательное ухо рядового читателя.

Все эти недостатки не искупаются даже и тем хорошим литературным вкусом автора, явно тяготеющего — в начале и середине сборника — к Тютчеву, Блоку и Брюсову, — в конце к наиболее поздним достижениям в поэзии который оберегает В. Статьеву от чересчур явных прозаизмов и туманностей. Мы надеемся, что это воспитание удержит В. Статьеву от издания второго тома стихов в столь же «домашнем» виде, и укажет ее скромному дарованию путь более строгого отношения к выпускаемому в свет материалу.

Обложка книги — образец безвкусия и предостережение авторам от вновь народившегося шанхайского к-ва «Даль». Давно уже нам не приходилось видеть столь безжалостно с внешней стороны изуродованной книги. Не лучше и титульный лист; распределение стихов, шрифты и «тирешки» в конце каждого стихотворения оставляют самое безотрадное впечатление. Очевидно полное незнакомство с книжным делом и дилетантство руководителей к-ва, приступающих к изданию каталога семян, календаря и сборника стихов с одним и тем же полетом убогой фантазии.

Варвара Михайловна Статьева (Перевощикова)

Биографические сведения о В. М. Статьевой (в замужестве Перевощиковой) крайне скудны; годы ее жизни остаются неизвестны¹.

В стихах Статьевой в качестве города детства упоминается Нижний Новгород; позднее она жила в Москве, если не родилась там. В 1907-1914 гг. работала учительницей². Муж Статьевой, Александр Матвеевич Перевощиков, из дворян, служил бухгалтером в московском агентстве Товарищества Вятско-Волжского пароходства. Семья жила на ул. Новоселенской 7 (дом являлся одновременно и конторой агентства). В конце 1914 г. Перевощиковы вместе с младшими сестрами Варвары переехали в Иркутск в связи с назначением А. М. Перевощикова в одно из ленских пароходств. В 1915 г. Статьева плавала с мужем по Лене³.

В Иркутске Статьева сблизилась с группой молодых поэтов (К. Журавский, Н. Камова, Л. Повицкий, В. Пруссак); в июне 1916 г. пять поэтов выпустили первый — и оставшийся единственным — альманах «Иркутские вечера». Разнородный по составу альманах был встречен нелицеприятными газетными рецензиями: критики обвиняли поэтическую молодежь в малограмотности и подражательности. Тем не менее, альманах и его авторы приобрели некоторую популярность в Иркутске. С появлением в августе модернистского «Багульника», редактировавшегося и издававшегося А. И. Миталь, Статьева вместе с другими участниками «Иркутских вечеров» стала деятельной сотрудницей нового журнала. На страницах «Багульника» увидел свет ее очерк «Сила»; еще один очерк, «По Лене», Статьева напечатала в журнале «Сибирская летопись». Привлекали внимание и ее стихи — некий «Анчар» даже выступил в «Иркутской жизни» с бездарной пародией:

Истекали строчки славной музы Статьевой,
И стишок ее наводил печаль.
Не хотел никто у ней для печати брать его —
Он пришелся по сердцу госпоже Миталь⁴.

¹ Здесь и далее мы используем ряд ценных сведений касательно доиркутского периода жизни В. Статьевой, а также биографий ее сестер, собранных А. Северином и представленных на сайте <https://www.yakutskhistory.net>. Оттуда же нами взят автограф Статьевой (на фронтисписе).

² ГАИО. Фонд 104 (Инспекция народных училищ... по Иркутской губ.), оп. 2 (Личные дела учителей за 1871-1920 гг.), ед. хр. 330.

³ См. в очерке «По Лене»: «<...> пока все лето придется по Лене плавать. <...> муж поступил на службу в одно из пароходств, и для ознакомления с делом надо будет до осени не покидать парохода».

⁴ Анчар. Маленький фельетон: Вместо библиографии (Для «смеси») // Иркутская жизнь. 1916. № 232, 24 сентября. С. 2.

Пятый и последний номер «Багульника» вышел в марте 1917 г.; в кратком объявлении на последней странице А. И. Миталь сообщила, что «редактирование и издание журнала “Багульник” с номера 6-го мною передается Варваре Михайловне Перевощиковой». Но семье, подхваченной революционными вихрями, вскоре стало не до журнала. Младшие сестры Статьевой, Прасковья (1892-1972) и Елизавета (1893-1979), успевшие подпасть под влияние соседа по дому, ссыльного большевика П. И. Старостина, в 1918 г. вступили в РКП (б) и уехали в Москву⁵. Статьева, судя по стихам и тесной дружбе с ссыльным поэтом-революционером В. Пруссаком (1895-1918), также встретила Февральскую революцию с воодушевлением. Октябрьский переворот и начало Гражданской войны в Сибири принесли отрезвление; через некоторое время Статьева перебралась во Владивосток, где очутилась в гуще богемно-художественной жизни.

Статьева участвует в вечерах Литературно-художественного общества, вместе с другими «левыми» поэтами печатается в авангардных журналах — «Лель», «Бирюч», «Творчество». В мемуарном очерке Ю. Галича (Г. И. Гончаренко, 1877-1940) «Абракадабра» она описана как постоянная посетительница кабаре «Би-Ба-Бо» и одна из «целой фаланги мелких, бездарных, бесповоротно свихнувшихся эротоманов кокаинистов». Очерк этот, к слову, много десятилетий спустя «творчески обработал» в романе «Три возраста Окини-сан» (1981) советский борзописец В. Пиккуль: «К ним, пошатываясь, как сомнамбула, сразу же подошла стройная и красивая поэтесса Варвара Статьева, проывшая: — Горбатые ландыши задушили мне горло... — Брысь, курва! — сказал ей Старк»⁶.

Так или иначе, Статьева, по всей видимости, стала достаточно популярной фигурой: в 5-м номере «Леля», вышедшем 12 декабря 1919 г., был опубликован шарж на нее работы худ. Кривошеина (соседний шарж изображал Д. Бурлюка⁷). На следующий день Статьева разделила с С. Третьяковым вторую премию на поэтическом конкурсе ЛХО им. Н. П. Дукельского, уступив первое место Н. Асееву⁸.

Сближению Статьевой с футуристами способствовали не только новые владивостокские знакомства, но и иркутские связи: Н. Чужак-Насимович, критик и будущий «лефовец», ставший с июня 1920 г. редактором «Творчества», был одним из активнейших участников журнала «Багульник». В первом же номере «Творчества» была опубликована статья Чужака о Статьевой и два ее стихотворения, в которых отчетливо звучали футуристические нотки.

С 1920 г. В. Статьева жила в Шанхае. В Китае она стала редактором-издателем газеты «Шанхайский понедельник», публиковалась в журнале «Гонг» и издала собст-

⁵ Елизавета в 1930-е гг. работала в Главнефти и Наркомтяжпроме. Прасковья опубликовала книгу воспоминаний «Петр Старостин — бесстрашный солдат великих боев» (Одесса, 1961).

⁶ Текст о ландышах, также заимствованный Пиккулем у Ю. Галича, принадлежит В. Рябинину.

⁷ Д. Бурлюк положительно отзывался о Статьевой в очерке «Литература и искусство в Сибири и на Дальнем Востоке (1919-22 г.): (Заметки и характеристики очевидца)» (Новая русская книга. 1922. № 2. С. 46-47).

⁸ Статьева представила на конкурс стихотворение «И храм Спасителя...», опубликованное позднее в ее сборнике в качестве первой части двухчастного цикла «Воспоминание о Москве».

венный сборник «Стихи. Том 1» (1920). Газета «Дальневосточное обозрение» приветствовала книгу весьма резкой по тону критической статьей, отметив как единственное достоинство «хороший литературный вкус автора».

Этим исчерпывается недолгая литературная карьера Варвары Статъевой. По сведениям Б. А. Ивашкевича, в июне 1922 г. «талантливая поэтесса» вернулась во Владивосток⁹; А. А. Хисамутдинов сообщает о смерти Статъевой в Циндао в 1920-х гг.¹⁰

⁹ И-ч [Ивашкевич Б. А.]. Писатели, ученые и журналисты на Дальнем Востоке за 1918-1922 гг. Владивосток, 1922. С. 62.

¹⁰ Хисамутдинов А. А. Русские литераторы-эмигранты в Китае: Материалы к словарю (1-я половина XX в.). Владивосток, 2017. С. 107.

ПРИМЕЧАНИЯ

Все тексты публикуются по первоизданиям в новой орфографии, с сохранением авторской пунктуации. Безоговорочно исправлены некоторые явные опечатки.

На фронтиспise — шарж на В. Статьеву работы худ. Кривошеина (Лель. 1919. № 5, 12 дек. С. 3).

Издательство и составитель приносят глубокую благодарность И. Лоцилову и В. Нехотину за помощь в работе.

Стихотворения из альманаха «Иркутские вечера»

Публикуется по: Иркутские вечера: Стихи. Константин Журавский. Надежда Камова. Лев Повицкий. Владимир Прусак. Варвара Статьева. Альманах первый. Иркутск: Изд. группы поэтов, июнь 1916.

В подборку не включены стихотворения, вошедшие позднее в авторский сб. «Стихи» (1920).

Стихотворения из периодических изданий

В подборку не включены стихотворения, вошедшие позднее в авторский сб. «Стихи» (1920).

Я в ресторане. Тает ночь... // Багульник (Иркутск). 1916. № 4.

10 марта 1917 года // Лель (Владивосток). 1919. № 3. 28 ноября.

10 марта 1918 года // Лель (Владивосток). 1919. № 3. 28 ноября.

Это и предшествующее стих. были опубликованы в журн. «Лель» как двухчастный цикл; в «Стихах» 1920 г. разъединены и напечатаны без загл., причем данное стих. (возможно, ошибочно) датировано «март 1917».

Весна // Творчество (Владивосток). 1920. № 1, июнь.

Стихи. Том I

Публ. по: Статьева В. Стихи. Том I. С рис. П. Подгурского. Шанхай: Восточное изд-во «Даль», 1920.

Русь

Впервые под загл. «Цвет папоротника» // Багульник (Иркутск). 1916, № 1, авг.

Рассвет сгоняет сон с зеленого овса...

Впервые под загл. «На родине» в альм. «Иркутские вечера». В первоначальном вар. ст. 1: «росистого овса».

Толпа и поле, толпа и небо...

Впервые под загл. «Крестный ход» в альм. «Иркутские вечера» с незначительными отличиями в пунктуации.

Я снова здесь...

Впервые в альм. «Иркутские вечера» как фрагмент двухчастного цикла «В храме» (см. выше).

У лесных озер (Вятск. губ.).

Впервые под загл. «У лесных озер» в альманахе «Иркутские вечера» с небольшими расхождениями и отличиями в пунктуации и строфике.

Осенние березы — тихие костры...

Впервые: Багульник (Иркутск). 1916. № 4. В первоначальном вар. ст. 1: «как тихие костры», ст. 9: «ложится наглый свет».

Воспоминание о Москве

Первая часть впервые: Лель (Владивосток). 1919. № 6. 19 дек. Стих. было удостоено 2-й премии на поэтическом конкурсе ЛХО им. Н. П. Дукельского (13 дек. 1919).

Выплывало солнце из-за гор щетинистых...

Впервые под загл. «На берегу (Из цикла “Байкал”)» // Багульник (Иркутск). 1916. № 2, сент.

В своей кн. «Сибирский мотив в поэзии (Чита, 1922. С. 73-74) Н. Ф. Чужак-Насимович так писал об этом стих.:

«По обыкновению, с точки зрения плывущих запахов и движущихся цветочных пятен подходит к своей теме поэтесса В. Статьева. Вот — ее “На берегу” (из цикла “Байкал”) <...>

Коренной сибирский поэт, опять-таки, не мог бы подойти к байкальскому мотиву так, как подошла здесь поэтесса. Это очень любопытно, между прочим, что все чисто сибирские поэты, гордые, как всякий сибиряк, своим Байкалом, подходят к теме о Байкале как-то *внешне*, почему и нет ни одного хотя сколько-нибудь сносного стихотворения сибиряка, посвященного Байкалу. “Славное море, священный Байкал”, достойное этого чудесного озера своей торжественно-арестантской молитвенностью, есть также плод не коренного сибирского творчества. Обычное же подхождение сибиряков к Байкалу (“могучий”, “седой”, “великий” и т. п.) поражает своим бессилием. Не сибирячка Статьева подошла, как видите, совсем беспретенциозно и просто, но душную смолистую берега Байкала, как бы в воздухе плывущую, никто еще так не передавал».

У иконы потускневшей тоненькие свечи...

...хамбо-ламы — Хамбо-лама — в данном случае имеется в виду титул духовного главы буддистов Бурятии (с XVIII в.).

Разгром

Впервые: Творчество (Владивосток). 1920. № 1, июнь с нек. отличиями в пунктуации.

Памяти Новоселова

А. Е. Новоселов (1884-1918) — писатель, публицист, ученый-этнограф, виднейший беллетрист дореволюц. Сибири. С 1917 г. эсер, комиссар Временного пр-ва по Акмолинскому краю, министр внутр. дел во Временном Сибирском пр-ве. В сентябре 1918 г. был арестован в Омске по распоряжению начальника гарнизона и застрелен двумя белыми офицерами при «попытке к бегству».

Венедикту Марту

В. Март (В. Н. Матвеев, 1896-1937) — владивостокский поэт, прозаик, автор многочисл. сборников модернистской направленности (1914-1922), отец поэта-эмигранта И. Елагина (1918-1987). В 1918-1920 гг. активный участник литературной и худож. жизни Владивостока, одно время близкий к футуристам. В 1920-1923 гг. жил в Харбине. По возвращении в СССР публиковал очерки, агитационную прозу, посв. Китаю и Японии, работал журналистом. Совместно с Н. Костаревым выпустил трехтомный авантюрно-приключенч. роман «Желтый дьявол» (1924-1926) о Гражданской войне на Дальнем Востоке (переиздан изд-вом Salamandra P.V.V. в 1918-1919 гг.). В 1928 г. был сослан на три года в Саратов. Позднее жил в Киеве, где в 1937 г. был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии и расстрелян. Подробнее об этой неординарной фигуре см. в выпущенном изд-вом Salamandra P.V.V. собрании сочинений В. Марта (2020).

У малого народа....

Ангелы с пастырями славословят... — из кондака на Рождество Христово.

Пришла Варвара...

Впервые: Бирюч (Владивосток). 1920. № 1, март, с посв. «С. М. Третьякову».

Пришла Варвара... придет Никола — Стих. датировано днем св. Варвары, 4 (17 н. ст.) декабря; праздник Николы Зимнего (день смерти св. Николая Чудотворца) отмечался 6 дек. (19 дек. н. ст.). Здесь обыгрываются народные поговорки: «Варвара ночи украла, дня притачала» или забайкальск. «Саввы-Варвары ночи урвали, кур воровали, под печку клали» и т. п.

По Лене

Впервые: Сибирская летопись (Иркутск), 1916, № 6-8, июнь-август.

...«мин — сон Макар». Писатель, говорят, там жил, так про него написал бытто! — Подразумевается рассказ В. Г. Короленко «Сон Макара» (1883).

Сердце в тюле

Впервые: Бирюч (Владивосток). 1920. № 1, март.

В годовщину смерти В. В. Пруссак<а>

Впервые: Лель (Владивосток). 1919. № 6, 19 дек.

В. В. Пруссак (1895-1917) — поэт, эсер-революционер. Автор сб. «Цветы на свалке» (1915), «Деревянный крест» (1917), участник альм. «Иркутские вечера» и журн. «Багульник». В 1913 г. за революционную деятельность был арестован в Петербурге и в 1914 г. приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь. По возвращении из ссылки в 1917 г. — эмиссар Петросовета на фронте. Летом 1918 г. заболел аппендицитом, умер в результате неудачной операции. Подробнее о нем см. в выпущенной изд. Salamandra P.V.V. кн. Пруссак «Цветы на свалке» (2020).

Журавский бледный и серьезный — Поэт и прозаик К. С. Журавский, участник «Иркутских вечеров», как указывает Н. В. Здобнов (Материалы для сибирского словаря писателей. М., 1927. С. 25) публиковался в 1912-1916 гг. в газетах «Сибирская заря», «Сибирь», журналах «Багульник», «Сибирские записки», «Иркутская незабудка», сб. «Северные зори»; в 1918 г. напечатал некролог Пруссак в красноярской «Воле Сибири».

Поэтессы грациозной — речь, видимо, идет об участнице «Иркутских вечеров» Н. А. Камовой (1897 — после 1919). Выпускница Хаминовской гимн., печаталась как минимум с 1915 г. (журн. «Женская жизнь», «Багульник», газ. «Иркутская жизнь» и др.). Подробнее о ней см. в выпущенной изд. Salamandra P.V.V. кн. Камовой «Стихи» (2020).

Будем лопать камни, травы... — неточная цит. из знаменитого стих. Д. Бурлюка «И. А. Р. Ор. 75», вольного пер. из А. Рембо (опубл. 1913): «Будем кушать камни травы / Сладость горечь и отравы / Будем лопать пустоту / Глубину и высоту».

Дилетант [Н. Ф. Чужак-Насимович]. Дальневосточные поэты: Варвара Статьева

Впервые: Творчество (Владивосток). 1920. № 1, июнь.

Нав. Варвара Статьева: Стихи

Впервые: Дальневосточное обозрение (Владивосток). 1920, сентябрь?

Псевд. автора, насколько нам известно, не расшифрован. А. В. Крусанов предполагает в связи с др. статьей, что он мог принадлежать А. Несмелову, что кажется сомнительным.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стихотворения их альманаха «Иркутские вечера»	7
Стихотворения из периодических изданий	12
Стихи. Том I	17
По Лене: (Путевые впечатления)	74
Сила: (Очерк)	88
Сердце в тюле	94
В годовщину смерти В. В. Пруссак<a>	97
<i>Приложения</i>	
<i>Дилетант [Н. Ф. Чужак-Насимович]. Дальневосточные поэты: Варвара Статьева</i>	100
<i>Нав. Варвара Статьева: Стихи</i>	106
Биографический очерк	110
Примечания	113

Scriptorium



Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.